

НИКОЛАЙ ВОЛЬСКИЙ

Национализм как "превращенная форма страха", или Откуда берутся антисемиты

Опубликовано в журнале: [Звезда 2007, 12](#)

Николай Николаевич Вольский (род. в 1948 г.) — кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, автор многочисленных работ по иммунологии, биохимии, смежным областям науки и книг: “Лингвистическая антропология” (Новосибирск, 2004) и “Легкое чтение: Работы по теории и истории детективного жанра” (Новосибирск, 2006). Живет в Новосибирске.

(с) Николай Вольский, 2007

Николай Вольский

Национализм как “превращенная форма страха”, или Откуда берутся антисемиты

Вопрос, вынесенный мной в заглавие этой статьи, издавна волнует либеральную общественность. И не только потому, что значительную часть этой самой общественности составляют лица “некоренной” национальности и те, кто не без оснований подозревает, что, даже не будучи евреем, можно легко оказаться причисленным к этим самым ненавистным “жидам”, — вопрос этот, даже с чисто теоретической точки зрения, представляет собой интеллектуальный вызов всякому мыслящему человеку. Нельзя сказать, что на него совсем нет никакого ответа. Напротив, за сто с лишним лет обсуждения “еврейского вопроса” ответов — и самых разнообразных — накопилось немало, но все они не кажутся вполне убедительными и достаточными для понимания существа дела, а главное, почти все они представляют сегодня лишь исторический интерес.¹ Понятно, что выяснение социально-экономических противоречий или причин религиозной вражды между евреями и украинцами во времена Богдана Хмельницкого мало что может дать для понимания бурных проявлений антисемитизма в сегодняшней Сибири, где и евреев-то почти не осталось.

При взгляде на проблему межнациональных конфликтов в широкой исторической перспективе невольно приходишь к обоснованному сомнению: а может быть, дело не в евреях как таковых? Может быть, основная причина возникновения острых массовых вспышек антисемитизма лежит за пределами тонких и запутанных отношений между находящимися в меньшинстве представителями этой нации и лицами, считающими себя частью основной массы населения? Ведь аналогичные взрывы “народной” ненависти возникали и возникают по отношению и к другим национальным группам, вызывая острые, раскалывающие общество конфликты, и хорошо еще, если такая конфронтация и сопутствующая ей поляризация общественных сил и настроений разрешаются относительно бескровно, без массовых репрессий, резни, погромов, а то и возникновения локальных войн. В подоплеке каждого из таких конфликтов можно увидеть запутанный клубок исторических обид, трудно совместимых экономических интересов, социально-психологических установок, обуславливающих взаимное недоверие и неприязнь, конфликтов, возникающих на почве религиозной (или принимающей религиозные формы)

вражды, трудно определимых ощущений собственной “второсортности” (и не так уж важно, существует ли такая групповая дискриминация в реальности или только в сознании людей, втягиваемых в национальное противостояние). Как и в “еврейском вопросе”, в каждом из таких конфликтов есть своя специфика: ситуация в Приднестровье не копирует межнациональные столкновения в Руанде, в Абхазии или в Палестине, а распространенное среди жителей Москвы неприязненное отношение к “лицам кавказской национальности” (и вообще к не имеющим ясного определения “черным” и ко всем этим “отовсюду понаехавшим”) не является калькой с отношения к русским в Бурятии.

Однако множество общих черт, объединяющих острые массовые проявления этих столь различных между собой межнациональных конфликтов, наводит на мысль о существовании некоего общего механизма, благодаря которому все эти разнообразные, годами тлеющие общественные противоречия временами выплескиваются на поверхность, принимая формы острой социальной патологии. Чтобы далеко не ходить за примерами, обосновывающими важнейшую роль неспецифического фактора в провоцировании очередной “волны народного гнева”, обратим внимание на то, что в последние несколько лет антисемиты, до этого бывшие наиболее заметной частью националистических движений, не то чтобы совсем исчезли с горизонта, но совершенно явно оказались задвинутыми в тень — их место заняли “борцы с черной опасностью”. С достаточной степенью уверенности можно предположить, что та же самая “масса”, которая лет пятнадцать назад живо интересовалась “примесью еврейской крови” у своих знакомых и у лиц, находящихся на поверхности общественного внимания, сегодня с той же степенью заинтересованности воспринимает сообщения о вытеснении “нерезидентов” с московских рынков и о наличии вредных примесей в “Хванчаре” и в “Боржоме”. Невольно создается впечатление, что достаточно средствами массовой информации ткнуть пальцем в кого бы то ни было: “Вот он, вражина!”, как пресловутая “масса коренного населения” нашей страны (а по-видимому, и во многих других странах дело обстоит аналогичным образом) начинает чувствовать, как ее внутреннее невысказанное чувство раздражения по отношению к этому удостоенному высочайшего внимания типу “врага” начинает переходить обычные границы, стремясь к внешним проявлениям и активным действиям.

На этом пестром фоне разноликих национально окрашенных фобий, “-измов” и “-едств” антисемитизм (он же — “юдофобия” и “жидоедство”) представляется лишь одним из примеров националистических остервенений и расистских умопомрачений, временами охватывающих жителей разных стран. В качестве примера он хорош своей яркостью, разнообразием своих исторических проявлений и, что очень важно для целей данной статьи, общеизвестен и хорошо задокументирован в общественной памяти. Будучи только частью широкого спектра националистических движений, антисемитизм имеет свою неповторимую историю и обусловленные ею многочисленные особенности, которые было бы бесполезно искать в других вариантах национализма и шовинизма, однако, избрав антисемитизм в качестве конкретного объекта своего исследования, мы сосредоточим свое внимание на том незаметном с поверхности, но значимом в своем влиянии факторе, который во многих случаях способен “подминать под себя” специфику различных форм национализма и решающим образом определять динамику наблюдаемых нами событий.

Взглянув на массовый антисемитизм с этой точки зрения, можно сказать, что существует по крайней мере один “внеисторический” фактор, действовавший и в царской России, и в Веймарской Германии, и в СССР времен горбачевской “перестройки” (да и сейчас его нельзя сбрасывать со счетов), — всегда есть политические силы, готовые в своих целях разыграть “еврейскую карту”. Несомненно, наиболее яркие проявления антисемитизма связаны с деятельностью этих не слишком скрывающихся, но и редко показывающихся на

сцене “кукловодов”, которые хладнокровно манипулируют “внезапно разбушевавшимися” толпами. Хорошим примером такого “спонтанного взрыва” массовых юдофобских выступлений, проходивших на глазах нынешнего поколения российских граждан, была деятельность известного общества “Память”.

В самом конце 1980-х и начале 1990-х годов город Новосибирск, обычно сливающийся в сознании жителей европейской части нашей страны в одно малодифференцированное целое с Норильском и Нижневартовском, стал хорошо известен всякому, кто хотя бы изредка смотрел телевизор (а кто ж его тогда не смотрел). Более того, слова “Новосибирск” и “Академгородок” регулярно появлялись в новостях ведущих телекомпаний и на страницах газет всего мира. А как же, ведь именно здесь происходили самые бурные (если не сказать оголтелые) и грозные выступления “памятников”: митинги, “патриотические” выступления с угрозами и обещаниями “разобраться с кем требуется”, транспаранты и листовки, открытое распространение погромной литературы, слухи о проскрипционных списках с фамилиями, адресами и телефонами, признания известных и уважаемых всей страной евреев в том, что им приходят письма с оскорблениями и угрозами, — шум, крик, выпученные глаза, трясущиеся от злобы и возбуждения люди. И Новосибирск с его “учеными”, вдруг взбунтовавшимися против “еврейского засилья” и вспомнившими о своих исконных коренных правах, был отнюдь не единственным, хотя и самым сценически ярким в то время очагом антисемитизма. За несколько месяцев жалкая и до того мало кому известная организация, существовавшая где-то на задворках КГБ и состоявшая, по-видимому, всего из нескольких внештатных сотрудников, стремительно разрослась и резко активизировала свою деятельность. По всей стране, вплоть до поселков городского типа, как грибы возникали региональные отделения “Памяти” и ориентировавшиеся на нее группы. Появилось множество антисемитских газеток и журнальчиков (нашлись и деньги, и типографии, не убоившиеся недреманного ока, а следовательно, получившие соответствующие указания), по телевизору непрерывно демонстрировали кадры, снятые то в каком-то “бункере”, где размещался московский “штаб” головной организации “Памяти”, декорированный под “имперскую канцелярию” с “боевыми знаменами” и стилизованными под гитлеровских штурмовиков молодчиками, то на каких-то “учебно-тренировочных сборах”, где эти молодчики демонстрировали свою боеготовность. При этом “независимые журналисты” всячески подчеркивали в своих разоблачающих репортажах: смотрите, “они” ничего не боятся, “они” уже не скрывают своих планов расправиться с евреями и всеми, кто попытается их защитить, за “ними” сила. Всю Россию заливала какая-то мутная истерическая волна, казалось, дело идет к “окончательному разрешению еврейского вопроса” в нашей стране. Казалось, что власть во главе с “дорогим Михаилом Сергеевичем” просчиталась, выпустив джинна антисемитизма из бутылки, и теперь инициатива перешла к тем, кому евреи всю жизнь стояли поперек горла и кто сейчас не упустит случая с ними разделаться.² Казалось, вот-вот начнутся массовые погромы и вряд ли дело этим ограничится.

Но, к счастью, все это только казалось. Волна схлынула еще быстрее, чем поднялась. Стало очевидно, что все это антисемитское озверение было такой же очередной кампанией, как “создание АСУ”, “химизация сельского хозяйства” или “борьба с пьянством”. Как только финансирование данного “проекта” было жестко урезано, количество активных антисемитов моментально сократилось на несколько порядков, и борьба с “международным еврейским заговором” возвратилась на уровень вялотекущей шизофрении (адекватно объему отпускаемых на эти цели средств). Чиновники занялись решением очередных задач, штатные борцы за “патриотическое возрождение” получили за свои заслуги различные лакомые кусочки вроде мест в областных представительных собраниях и прочих организациях, где “пилят” казенные деньги; наиболее расхоронившихся и не желающих угомониться “вождей” припугнули уголовным преследованием и

отлучением от кормушки, и все вернулось на круги своя. Были антисемиты — и не стало их, как сквозь землю провалились. До очередной кампании.

Конечно, осталось не очень понятным, зачем верховная российская власть того времени и выполняющая ее указания пресловутая “контора” затеяли всю эту постановку? Чего они добивались и удовлетворили ли их результаты этого грандиозного спектакля? Ответов на эти интересные вопросы я не знаю. Но сама механика раскручивания антисемитской волны вполне ясна и прозрачна. Ее организаторы ничего особенно и не скрывали. Более того, важным элементом этого механизма служит оповещение всех желающих поучаствовать в “массовых антиеврейских выступлениях” о том, что власти ничего против них не имеют и, следовательно, участникам практически нечего бояться. Так было и раньше: любой погром начинался с прямого и косвенного оповещения населения о том, что тогда-то и там-то будут громить евреев и — главное! — что полиция не будет в это вмешиваться.³ Ясно, что при таком раскладе всегда находилось достаточное количество желающих безнаказанно пограбить и вволю побезобразничать, а в ходе этого развлекательного мероприятия тон задавали, естественно, самые отъявленные подонки и откровенно патологические типы. Если “настоящих буйных” оказывалось мало, настроение толпы разжигали своим примером штатные провокаторы и заранее прикормленные прохвосты. Точно так же охранка устраивала и погромы петербургских немцев в начале Первой мировой войны, и точно так же Петроградский совет организовывал выступления революционных матросов, а Мао Цзэдун проводил “культурную революцию”. Ничего принципиально нового в этой погромной технологии с тех пор не появилось. Сегодня “жидомасонов” и “сионистов” заменили “кавказцы” и “черные”, теперь мы постоянно слышим об ужасных и неистребимых скинхедах, а не об антисемитах, но уши везде торчат те же самые — можно не сомневаться, что вожди всех этих “движений” получают жалованье в одной и той же кассе.

Все это так. Но меня в данном случае не интересуют организаторы и вдохновители “массовых антисемитских выступлений”, которые играют роль козлов, ведущих стадо в предначертанном начальством направлении. Гораздо любопытнее, на мой взгляд, разобраться с рядовыми участниками этих движений, с теми, кто раскупает эти газетки и книжечки и создает массовку на этих митингах. Кто же эти бараны, которые с выпученными глазами прут толпой по указанному пути, не пытаясь разобраться, чем все это для них кончится? А самое главное, зачем им все это надо, в чем их мотивация? Собственно говоря, именно они придают силу всем этим расовым бредням. Без них все рассуждения о “еврейском заговоре” и о необходимости ему противодействовать приобретают, можно сказать, академический характер. На них можно было бы обращать столько же внимания, сколько и на “теории” Фоменко или Мулдашева. Да, есть определенный тип людей, удовлетворяющих свои интеллектуальные потребности столь противоестественным, на наш взгляд, образом, и, естественно, находятся “специалисты”, которые делают на этой потребности свой бизнес. Нам-то что до этого? Опасными антисемитские идеи становятся лишь тогда, когда они овладевают агрессивно настроенными массами.

Что же заставляет сотни тысяч и даже миллионы рядовых антисемитов вставать под лозунги этого движения и не просто пассивно соглашаться с юдофобскими идеями, а буквально “рваться в бой”, доказывая каждому встречному правоту этих идей и выражая готовность идти на определенный риск ради торжества антисемитизма? В чем психологические корни такой одержимости? Обычно в качестве основных стимулов, возбуждающих массовый антисемитизм, называют исторически сложившиеся недоверие и предубежденность русских людей к чуждому и непонятному им иудейскому племени и некий корыстный интерес, побуждающий к антиеврейским выступлениям — “мы”, дескать, выступаем против “них” потому, что “они” не такие, как

“мы” (а это раздражает и пугает), и потому, что надеемся в борьбе с евреями получить какую-то материальную выгоду, хотя и декорируем этот конфликт под идейное противостояние. Несомненно, действие этих факторов вносит свой вклад в общую психологическую подоплеку деятельности антисемитов, но трудно признать их основными и решающими. Из признания их основополагающей роли следует, что чем активнее евреи, чем больше они проявляют себя в жизни страны, чем сильнее подчеркивают свою национальность, чем они “евреистее”, тем выше должна подниматься волна антисемитизма. Но в реальности явной связи между еврейскими действиями и степенью накаленности антисемитских выступлений не обнаруживается.⁴ Характерно, что наибольшую ненависть антисемитов вызывает не ортодоксальная часть еврейства, а как раз те, кто в значительной мере ассимилировался и чьи особенности поведения не выходят за рамки индивидуальных особенностей поведения различных категорий “русских”. Более того, с особым параноидальным усердием антисемиты разоблачают тех, кого они считают “замаскировавшимися евреями”, тех, кто носит русские фамилии и внешне ничем от “нас” не отличается, но имеет глубоко запрятанные “еврейские корни”.

Не выдерживает критического рассмотрения и тезис о корыстной подкладке антисемитской активности. Точнее, влияние такой мотивации в некоторых конкретных случаях трудно отрицать, и в определенных исторических условиях она, вероятно, играла существенную роль, выражая конфликт экономических интересов разных групп населения, но в сегодняшних условиях она никак не может объяснить поведение антисемитски настроенных людей. Если антисемитские настроения являются выражением внутривидовой конкуренции, то непонятно, почему раскол идет не по социальному, а по национальному признаку — почему чувствующие себя ущемленными и обойденными “русские писатели” выступали не против генералов от литературы, подмявших под себя журналы и издательства, а против евреев-литераторов, которые сами зависят от милости тех, кто захватил ключевые посты в литературной иерархии. И почему злокачественный антисемитизм процветал в тех профессиональных группах (в среде православного духовенства, в КГБ, в партийном аппарате), где евреев было чрезвычайно мало и где они не могли составить сколько-нибудь значимой конкуренции “истинно русским” людям.

Поэтому, не сбрасывая полностью со счетов влияние экономической заинтересованности и непосредственной ксенофобии, мы должны искать какой-то другой стимул, заставляющий массы людей, чьи жизненные интересы не зависят напрямую от существования или несуществования евреев, испытывать выраженное озлобление по отношению к этой далекой от них национальности.⁵

В поисках такого “фактора X” отметим несколько психологических и поведенческих особенностей, свойственных типичным представителям антисемитски настроенных масс:

1. На первое место я бы поставил “индуцированный” характер массового антисемитизма: в периоды общественного обострения “еврейского вопроса” количество активных антисемитов резко возрастает, а затем — после затихания страстей — возвращается к исходной “нормальной” величине. Человек, только недавно с пеной у рта изобличавший этих злокозненных евреев, вдруг как бы забывает об их существовании. Да, если спросить его прямо, он может согласиться, что, действительно, всех евреев можно рассматривать в качестве пятой колонны в нашем государстве, а некоторые из них являются прямыми участниками международного еврейского заговора, для кого святая Россия и русские патриоты — как кость в горле, но эта проблема перестает его волновать, уходит куда-то на задний план, заслоняется более насущными задачами текущего дня. Можно сказать, что антисемитизм представляет латентную характеристику таких людей и проявляется вовне лишь при действии на них достаточно мощного наведенного поля.

Благодаря этой характеристике такие “латентные антисемиты” представляют собой исключительно удобный материал для вышеозначенных “козлов-провокаторов”, которые по начальственному сигналу вздувают антисемитские волны, занимаясь этим профессионально или по совместительству. В отличие от тех параноидальных субъектов, которые по индивидуальным личностным и клиническим причинам озабочены еврейским заговором всерьез и надолго и потому трудно управляемы, эти появляющиеся в результате индукции антисемиты дружно встают под ружье при поступлении к ним соответствующего сигнала и так же дружно при отключении сигнала опять возвращаются в исходное обывательское состояние, в котором они, разбредясь по полю, мирно пощипывают травку и не лезут ни к кому со своими планами относительно окончательного разрешения не актуального в данный момент “еврейского вопроса”.

2. Вторым важным моментом этой характеристики является относительная неспецифичность латентной ненависти, которая в данное время проявляет себя как ненависть к евреям. Как это ни парадоксально, но один и тот же представитель данной группы людей может попеременно (а то и одновременно) выступать то как “антисемит”, то как “антиисламист”, и в обоих случаях его ненависть к “этим жидам” или к “этим чернозадым” (а заодно и к “этим дерьмократам”) будет аутентичной и непритворной. Складывается впечатление, что тот же самый “магнитик” в его душе, который заставлял его ориентироваться в соответствии с линиями напряженности “антисемитского поля”, делает его легко подверженным действию практически любых индуцирующих агрессию социальных полей. И это свойство “латентных антисемитов” создает дополнительные удобства для всех, кто имеет возможность манипулировать их агрессивными реакциями. При необходимости всегда можно натравить значительную их часть на кого вам будет угодно: хоть на евреев, хоть на украинцев, хоть на троцкистов или подкулачников. (Заметим в скобках, что те же самые массы оказываются гораздо более устойчивыми при попытках индуцировать в них ненависть к каким-либо внешним врагам — например, к литовцам или американцам. Их, конечно, можно заставить проголосовать за антиамериканскую резолюцию или вывести на митинг протеста под стены американского посольства, но участвовать они в этом будут только из-под палки или же за вполне ощутимую плату, а того самозабвенного и искреннего энтузиазма, который возникает у них на антисемитских акциях, добиться удастся только с большим трудом. И это различие в отношении к “врагам” внутренним и внешним является значимой чертой, указывающей на тот прямо не выражаемый и плохо осознаваемый психологический фактор, который определяет рассматриваемое нами поведение этих людей.)

3. Еще одной парадоксальной характеристикой описываемого типа является то, что их антисемитизм в одно и то же время и абстрактно теоретичен, и импульсивно спонтанен.

С одной стороны, он представляется какой-то теоретической конструкцией, усвоенной с чужих слов и далекой от непосредственных жизненных переживаний, он не базируется, как правило, на злобном отношении к каким-то определенным представителям ненавистной нации, которых данный конкретный антисемит лично знает и которые ему чем-то непосредственно досаждают или “перекрывают ему кислород”. Это не обобщение неприязни к отдельным лицам на всю группу, к которой эти лица принадлежат. Напротив, отрицательное отношение к конкретным евреям определяется их принадлежностью к ненавидимой группе, то есть если бы данный приверженец антисемитских взглядов не знал, что некто N имеет еврейское происхождение, то относился бы к нему как к любому другому российскому жителю, но если он про это узнает, то N сразу же становится для него “противным” и раздражающим. Отсюда тот странный факт, что многие принципиальные антисемиты признаются в том, что они поддерживают вполне лояльные добрососедские и даже дружественные отношения с какими-то конкретными близкими им евреями: непосредственные эмоциональные межчеловеческие связи оказываются сильнее,

чем основанная на головных построениях ненависть.⁶ Отсюда же и то, что ненависть к еврейству вообще чаще выражается в ненависти к каким-то далеким, известным по газетам персонам, олицетворяющим все еврейские пороки сразу, нежели к тем, с кем человек сталкивается в своей обыденной жизни. И это понятно: если ты ненавидишь евреев по принципиальным соображениям, то проще культивировать эту ненависть на тех, о ком ты ничего не знаешь, кроме их национальности и того, что они “плохие”; в этом случае ненависти не могут помешать те разнообразные и разнонаправленные чувства, которые ты невольно испытываешь при тесном общении с конкретными представителями этой нации.

Но вся эта надуманность и умозрительность представлений характеризует психологию рядового антисемита лишь с одной стороны. С другой же — непосредственное наблюдение за этим типом в его активном состоянии не дает оснований усомниться в искренности и спонтанности его реакций. Он действует явно под влиянием какого-то импульса, идущего из глубины его организма. Весь его вид, выражение лица, жестикация, запальчивость его речей, неутомимость в спорах и в выражении эмоций выдают в нем человека, буруемого неподдельной страстью. Нет сомнений, что, измерив у него физиологические показатели, мы обнаружим все признаки увеличенного выброса в кровь адреналина, то есть наличие какой-то ярко выраженной взрывной эмоции. Очевидно, что на митинг его привели не логические соображения о необходимости дать решительный отпор зарвавшимся сионистам и не понятное всем желание, воспользовавшись удобным случаем, немножко заработать, а внутренняя невозможность отсиживаться дома и молчать, потребность дать выход переполняющим его душу чувствам. Он не выполняет на митинге свой гражданский долг и не отработывает полученные подачки — он самовыражается и радуется возможности солидаризироваться со своими единомышленниками. Проблема, которую он обсуждает и которая привела его сюда к собратьям-антисемитам, касается каких-то его личных чувствительных болевых точек. Чем-то евреи задели его за живое, и пусть он толком и не понимает, чем именно, пусть его заимствованные у окружения “теоретические убеждения” всего лишь попытка логизации и рационализации испытываемых им чувств (и отсюда запутанность и логическая бессвязность его представлений), но в одном он не сомневается — его место здесь, в передовых рядах борцов с мировым еврейством, существование которого — он это явственно чувствует — представляет для него лично смертельную угрозу.

4. И еще один парадокс: большинство наблюдателей признает, что среди антисемитов непропорционально большой процент людей, которых нельзя назвать “чистокровно русскими” и в чьих жилах есть часть еврейской крови.

По-видимому, они оказываются особенно чувствительными к индукции антисемитизма. И, судя по всему, такая странная склонность людей смешанного русско-еврейского происхождения хорошо известна и принимается в расчет теми, кто по должности или по призванию регулирует интенсивность антисемитской активности масс. Очень показательным примером этого может служить начало политической карьеры Жириновского. Сейчас мало кто уже это помнит, но первым ампула, в котором “сын юриста” вступил на всероссийскую политическую арену, было ампула защитника прав “истинно русских людей” от поналезших неизвестно откуда инородцев, и в первую очередь от тех, о ком вы сейчас подумали. Чтобы уж и у самых недогадливых не оставалось никаких сомнений, вождю ЛДПР ассистировал на экране телевизора некий безвестный молодой соратник настолько ярко выраженной еврейской наружности, что в жизни такие почти что и не встречаются, — видимо, его специально подбирали, руководствуясь карикатурами из геббельсовских газет. Вероятно, это был первый случай массовой пропаганды антисемитизма по государственному телевидению, находившемуся

в то время под полным контролем КПСС; до появления на экранах макашевых, баркашевых и прочих было еще далеко. Ясно, что актеры, разыгрывавшие эту абсурдистскую сценку, были утверждены на высочайшем уровне, тем более что Жириновский, как утверждали, был креатурой самого М. С. Горбачева, а уж его-то — гроссмейстера большевистской тактики — не заподозришь в случайном выборе исполнителя роли антисемита. Это было явно рассчитано на специфическую аудиторию такого же еврейско-русского происхождения, что и сам Жириновский. Им нужно было подать сигнал о том, что верховная власть делает ставку на антисемитизм, и они — латентные антисемиты — этот сигнал приняли.

Такова феноменология рассматриваемого явления. А теперь можно назвать и тот внутренний импульс, который движет миллионами людей и заставляет их делать то, что очевидно лежит за пределами их реальных интересов. Догадливый читатель, по-видимому, уже понял, что, судя по первой части названия статьи, этот импульс — страх. И действительно, в основе того внешне иррационального поведения латентного антисемита, которое было описано выше, лежит страх. По крайней мере такое предположение позволяет разумно объяснить многие запутанные и противоречивые особенности его реакций на обстоятельства, которые предлагает ему жизнь.

Вся хитрость и непрозрачность психической структуры, обуславливающей внешние проявления антисемитизма, связана с тем, что страх, организующий эту структуру и придающий ей динамику, на поверхности не появляется — он скрыт в глубинах психики и в подавляющем большинстве случаев не осознается самим субъектом. И это понятно, поскольку цель всей этой “психологической рокировки” — вытеснить из сознания ощущение постоянного страха, любым путем избавиться от этого крайне неприятного и мешающего жить чувства. Благодаря внутренней, происходящей за пределами сознания психологической перестройке страх исчезает с доступной наблюдению поверхности, но поскольку он на самом деле никуда не делся и продолжает оставаться фактором (мотивом), определяющим поведение субъекта, он должен быть каким-то образом представлен в его сознании. Для сохранения своей психической целостности субъект должен иметь некоторое внутреннее обоснование для своих поступков, испытывать какие-то соответствующие его поведению чувства. Поэтому место страха занимает в данном случае ненависть: страх, по-видимости, “превращается” в другое чувство, которое и воспринимается как непосредственный движущий мотив поведения. Отсюда кажущиеся парадоксальность и абсурдность наблюдаемых реакций, которые не удается непротиворечиво объяснить ненавистью и которые в действительности определяются совсем другим, имеющим собственную динамику чувством.

Маркс в своих политэкономических исследованиях ввел понятие о “превращенных формах прибавочной стоимости”, которые совершенно аналогичны рассматриваемому нами феномену. В обыденной экономической деятельности мы имеем дело лишь с предпринимательской прибылью, денежным процентом и земельной рентой, которые воспринимаются нами как естественные свойства вещей (например, деньги обладают способностью к росту). И эти свойства остаются загадочными и непроницаемыми для понимания, пока мы не видим за ними их истинной природы — возникающей в процессе капиталистического производства прибавочной стоимости, которая сама по себе не доступна для непосредственного восприятия и представляет собой лишь теоретическую конструкцию, объясняющую видимую динамику прибыли, процента и ренты. Взяв за образец открытие Маркса, мы можем говорить о “превращенных формах страха” и использовать это понятие в своем анализе рассматриваемых феноменов.

Разберемся, в первую очередь, о каком страхе идет речь. Чего, собственно, страшится человек, вынуждаемый этим страхом к активным антисемитским действиям? Судя по интенсивности его реакций, это нечто должно быть просто ужасным, речь должна идти об угрозе фундаментальным жизненным ценностям боящегося, если не впрямую о его жизни и смерти. Можно было бы предположить, что страх вызывают именно те, против кого направляется его ненависть, то есть плетущие свой злокозненный заговор евреи.⁷ В этом случае очень просто объясняется возникновение агрессивной реакции: тот, кто тебе угрожает, — твой враг, и ненависть к нему вполне естественна. Но это простое объяснение плохо согласуется с уже рассмотренными характеристиками поведения антисемитов. В самом деле, откуда может взяться панический страх еврейских козней у человека, который в своей обыденной жизни не вступает в серьезные конфликты с евреями? О том, что евреи действительно столь опасны, он получает информацию извне, беседуя с уже теоретически подкованными знатоками еврейской угрозы и читая антисемитскую литературу. Но для того чтобы этим всем заинтересоваться, у него должен быть стимул, и если, по нашему предположению, этот стимул — страх, значит, он должен появиться до того, как человек начнет ощущать нависшую над ним опасность. Мы видим, что такое рассуждение приводит к абсурдным выводам. Еще более убедительно, на мой взгляд, доказывает ложность принятой предпосылки дальнейшее поведение антисемитов, когда их активность идет на спад и они возвращаются в свою латентную фазу. Что, собственно говоря, происходит, и почему их страх уменьшается? Откуда они узнают, что евреи перестали быть для них опасными? Ведь сейчас, после того как антисемитская пресса и речи на митингах открыли им глаза, они не сомневаются в реальном существовании еврейского заговора. Почему он перестает их пугать? Ведь с этой точки зрения ничего не изменилось.

Чтобы выйти из этого интеллектуального тупика, мы должны признать, что антисемиты боятся не столько евреев, сколько чего-то другого. И тогда у нас нет другого выхода, как предположить, что они боятся антисемитов. Каким бы неожиданным не показался этот вывод, на деле он представляет собой непротиворечивое и плодотворное решение рассматриваемой проблемы.

Сама механика возникновения массовой антисемитской активности выглядит в этом случае следующим образом. В исходном состоянии, то есть в состоянии относительно низкой антисемитской активности, когда в обществе не накалены страсти вокруг “еврейского вопроса”, основная масса будущих участников антиеврейских митингов — латентные антисемиты — и не помышляет воевать с евреями, эта проблема ее просто не беспокоит. Возможно, у них есть какие-то предубеждения против евреев, впитанные, что называется, с молоком матери, не исключено, что представители этой нации раздражают их своими манерами, проницательностью, склонностью к хитроумным комбинациям и интригам или еще чем-нибудь⁸, однако это не обязательно, очень может быть, что тот, кто на митинге громогласно выступает против евреев, чуть ли не требуя их поголовного уничтожения, до того относился к ним вполне благосклонно, не гнушался поддерживать с ними дружеские контакты и восхищался ими как нацией, давшей миру столько замечательных людей. Все это не важно, потому что непосредственное отношение к евреям не играет существенной роли в возникновении массового антисемитизма. Главное в том, что, каково бы ни было это отношение, оно слишком мало значимо для индивида, чтобы побудить его к каким-то активным действиям.

Активизироваться он начинает только в результате индукции, и побудительным сигналом служит информация о том, что “евреев будут бить”. Как ни сомнительны доходящие до него слухи, но они явно возникли не на пустом месте — еще вчера об этом не было и разговора, а сегодня эта тема активно обсуждается обществом. То там, то здесь он

встречает на улицах лотки со специфической литературой и кучки возбужденных людей вокруг них, среди которых невооруженным взглядом виден большой процент типов, несомненно требующих психиатрической помощи. И это ему не кажется, это факт: “некто в сером” открыл финансовую заслонку и дал соответствующие указания, так что у всегда существующих антисемитских организаций появились возможности резко активизировать свою деятельность. Это привлекает к ним самых разнообразных лиц, надеющихся также отщипнуть свой кусочек от внезапно увеличившегося пирога или просто захваченных общей волной. Толчок к “росту антисемитских настроений в обществе” дан, а дальше идет цепная реакция. Первыми, естественно, замечают перемену обстановки те, кого она прямо касается, — евреи и разного рода либеральные, правозащитные, демократические и прочие круги (и организации), считающие одной из своих важных задач бескомпромиссную борьбу с реакционной идеологией и не в последнюю очередь с антисемитизмом, который, как известно, прямо смыкается с тоталитарными и фашистскими идеями. В прессе множатся протесты и призывы к властям навести порядок и, как того требует закон, жесткими мерами прекратить открытую пропаганду межнациональной розни. При этом все понимают, что, ежели бы власть действительно обеспокоилась, она бы и без всяких правозащитников прицкнула на антисемитов, после чего про них можно было бы забыть. Следовательно, у власти другие планы и вступаться за евреев она не собирается. В ответ на такое развитие событий, с одной стороны, либералы начинают обвинять власть в преступном бездействии и тайном пособничестве антисемитам, а с другой — антисемитские агитаторы начинают выискивать “замаскировавшихся евреев” среди активных правозащитников и вопить, что “жидовские прихвостни еще опаснее самих жидов” и что с ними надо разобраться в первую очередь. В дело ввязываются ортодоксальные коммунисты, которые, увидев в антисемитах своих союзников по борьбе с либералами и ревизионистами, спешат разыграть эту карту и, стараясь не опускаться до откровенно антисемитских высказываний, мямлят что-то одобрительное в адрес “патриотов, не желающих мириться с плутократической просионистской политикой властей”. В свою очередь, это вызывает взрыв либерального негодования: налицо преступный блок власти, коммунистов, антисемитов и всех примыкающих к ним реакционных сил — “они” перестали маскироваться под цивилизованных людей и открыто заявляют о своих ближайших планах, “они” идут напролом и, начав с погромов, закончат концлагерями для всех инакомыслящих. В ответ на это... и так далее. Короче говоря, еще вчера малозаметный “еврейский вопрос” становится злобой дня, и всякий чего-нибудь стоящий журналист не может в своих статьях и репортажах обойти эту вышедшую на первые полосы тему, чувствуя при этом, что начальство (вплоть до самого высокого уровня) именно этого от него и хочет — чиновники держат нос по ветру и отчетливо понимают, откуда он дует.

Что должен чувствовать в этой ситуации латентный антисемит — фактически обыкновенный обыватель (как мы с вами) — и как он должен был бы вести себя, если бы действовал рационально? Все, что он видит, слышит и чуть ли не обоняет, ему не нравится и тревожит — он хотел бы спокойной жизни, а ему предвещают общественные катаклизмы, которые, ясно, не принесут ему ничего хорошего, а вот пострадать от них он, как и всякий другой, вполне может. Его первая реакция — отодвинуться от всего этого, быть подальше от разворачивающихся событий, ведь он не настолько не любит евреев, чтобы ввязываться в какие-то беспорядки, но и не намерен жертвовать за них собою и своими интересами. Это их дело, и пусть они выпутываются как-нибудь сами. Поэтому он старается не вмешиваться в разговоры на скользкую тему и словесные перепалки между желающими вывести евреев на чистую воду и теми, кто выступает против антисемитизма. При необходимости он отделяется ничего не значащими замечаниями и загадочными

ухмылками и чувствует, что его поведение правильно: было бы крайне глупо с его стороны вылезать на линию огня, когда и сами евреи вопреки своему темпераменту попритихли и стараются помалкивать на эту тему, явно надеясь отсидеться в кустах. Он чувствует, что хотя антисемиты ему не нравятся — все как на подбор наглые и противные, а то и вовсе безумные типы, — евреи тоже начинают его сильно раздражать: уехали бы все к черту в свой Израиль, если не могут ужиться с такой массой людей, и проблемы бы не было, с какой стати из-за них должны страдать ни в чем не повинные граждане. Когда же дело доходит до разоблачения “жидовских прихвостней” и на экране начинают фигурировать марширующие чернорубашечники, он понимает, что его политика невмешательства не дает ему достаточных гарантий; общество раскалывается на две непримиримые части, и выбранная им позиция равноудаления от борющихся сторон становится очень опасной. Если евреев будут бить, а к этому идет дело (да и как можно сомневаться в реальной возможности этого — ведь их уже не раз били, да еще как! почитайте, что они сами пишут по этому поводу; почти все их воспоминания состоят из рассказов о том, как их били, травили, унижали и притесняли), то у них хотя бы есть надежда на внутринациональную солидарность и поддержку мирового сообщества, а кто защитит таких маленьких людей, как он? Нужно прибиваться к какому-то берегу, примыкать к какой-то защищающей своих членов организации, и не возникает сомнений, в какую сторону надо грести. Во-первых, сила, безусловно, на стороне антисемитов, об этом талдычат все кому не лень, их явно больше, чем евреев, и даже если на каждого битого еврея окажется десятеро прибитых антисемитами неевреев, все равно эта общая цифра будет очень далека от большинства. Во-вторых, антисемиты грозят евреям всеми возможными карами, и пусть это лишь экстремистские загибы, не разделяемые основной массой участников движения, но в любом случае при победе антисемитов евреям и их защитникам не позавидуешь, в то время как евреи только призывают к закону и порядку и ни о какой агрессии не помышляют, они явно осознают непрочность своей позиции и фактически уже сдались без боя — где еврейские штурмовики? нет их и не будет, евреи и подумать об этом боятся, — им остается только жалобно попискивать в ответ на рычащие угрозы и взывать о помощи со стороны; они слишком цивилизованы и изнежены, чтобы противостоять толпе агрессивных варваров. В-третьих, и это, может быть, самое главное, нельзя рассчитывать на вмешательство в этот конфликт государства и его силовых структур: власть пасует перед мощным, идущим из народной глубины антисемитским движением, она заигрывала с ним и дала ему первый толчок, но сейчас она не знает, как с ним справиться, и начинает опасаться за свои собственные интересы, ясно, что в решительный момент политики умоют руки и пойдут на поводу у грозной толпы, лишь бы остаться во власти; это будет тем легче, что государство внутренне поражено антисемитизмом — относительное количество антисемитов в судах, прокуратуре, армии и милиции заметно выше, чем среди населения в целом. Короче, дело дрянь. И если бедному еврею податься некуда, то у простого обывателя есть выход: надо успеть примкнуть к будущим победителям до того, как начнется реальная схватка. Если есть альтернатива — бить самому или быть битым, то уж лучше примкнуть к тем, кто будет бить.

Таким образом, индукция произошла. Латентный антисемит превратился в активного антисемита. Теперь, внутренне став на сторону антисемитов, он должен приобрести соответствующий внешний облик: он начинает активно участвовать в разговорах о еврейской опасности, транслировать всякие дикие слухи, покупать и читать антисемитскую литературу, а затем и участвовать в их сборищах и митингах, не упуская случая засвидетельствовать там свое присутствие, распространять погромные издания, а возможно, и сотрудничать с ними в качестве автора. Такая легализация себя в качестве антисемита помимо своей основной прагматической цели — достижения безопасности — имеет еще и дополнительный стимул: она позволяет оправдать себя в собственных глазах.

Как ни крути, он стал антисемитом из шкурных побуждений и теперь он ведет себя так же, как те — “наглые, противные” — люди, которых ранее не одобрял. Пусть вынужденно, но он все же преступает свои собственные моральные правила, а такая раздвоенность неприятна, от нее хочется избавиться. Он занял позицию врага евреев, и ему нужно как-то обосновать свой выбор, убедить себя в правоте и моральной безупречности своих поступков (кто же кроме прожженных циников, каких совсем немного, согласен считать себя шкурником и трусом), поэтому он с радостью хватается за любые подсовываемые ему “теории”, рисующие евреев злобными, опасными и достойными презрения. Чем больше его страх (а при близком знакомстве с антисемитскими кругами страх этот только возрастает), тем больше он “верит” в опасность еврейского заговора и тем больше суетится и вопит на митингах и в печати. Отсюда впечатление об аутентичности испытываемой антисемитами ненависти к евреям и прочим “жидомасонам”: они не хладнокровно симулируют бурные чувства, они действительно находятся во власти аффекта, но природа его совершенно иная, нежели предполагают сторонние наблюдатели.

В связи с этим стоит сказать, что тезис о непросвещенности и одураченности масс как об одной из главных причин распространения антисемитских верований оказывается совершенно ложным. Из наших рассуждений следует, что никакие просветительные мероприятия и никакие исторические, научные, теологические и прочие имеющие рациональную основу аргументы не могут оказать существенного влияния на уже сформировавшихся антисемитов и на тех, кто является ими в потенции. Просто потому, что эта аргументация не имеет в антисемитской среде никакой аудитории, ее никто не воспринимает.

И в самом деле, кого стоит убеждать? Тех, кто стал антисемитом по долгу службы или наваривает на этой деятельности деньги? Верят ли они в распространяемые ими идеи или нет, это никак не может повлиять на их поведение. Клинических душевнобольных, фиксированных на теме еврейского заговора? Здесь также всякая рациональная аргументация бессильна. И остается последняя, самая обширная категория антисемитов — антисемиты со страху. Казалось бы, этих вполне вменяемых и материально не заинтересованных людей можно убедить в том, что евреи не представляют для них никакой серьезной опасности, будучи обычными людьми, такими же, как и все прочие. Но это, как мы выяснили, бесполезно, поскольку такие аргументы индуцированным антисемитам не нужны, не того они старательно ищут в книгах и газетах, они остро нуждаются в аргументах противоположного толка, логизирующих и обосновывающих их уже свершившееся превращение в антисемитов и камуфлирующих истинную причину этого превращения. Если бы эта причина — страх перед антисемитами — исчезла, они бы и сами, без всякой дополнительной разъяснительной работы отбросили свои антиеврейские теории как бесполезную для них шелуху, нимало не заботясь об их истинности или ложности. В конце концов, если заговор реально существует, его разоблачением должны заниматься специалисты.

Если ядром всего запутанного психологического комплекса, обуславливающего внешние проявления антисемитизма, оказывается страх, легко понять генезис того загадочного факта, который выражается в обилии и чуть ли не в преобладании лиц смешанного происхождения с нечетко определенной национальностью в рядах антисемитов. Кто должен в первую очередь быть жертвой страха перед погромщиками? 1) Евреи; 2) “почти евреи” — полу-евреи, четверть-евреи, евреи на одну восьмую и т. д.; 3) все, кто в общественном сознании стоит близко к евреям и ассоциируется с ними — лица с похожей внешностью, носители нерусских фамилий, люди с высшим образованием (те, кого раньше легко было распознать по шляпе, галстуку и очкам), музыканты, врачи, научные работники, финансисты и т. п.; 4) лица с исходно повышенным уровнем тревожности, со склонностью к паническим реакциям, попросту трусоватые. Попадающие в первую

категорию евреи среди антисемитов встречаются, конечно, крайне редко (хотя есть и такие). И это понятно: как бы ни был человек ослеплен страхом, он не может не чувствовать, что среди активных антисемитов ему не место — его там за своего не признают, а следовательно, никакие проявления ненависти к евреям его не спасут.¹⁰ Зато вторая категория оказывается на самом остром выборе: они чувствуют угрозу почти в той же степени, что и чистокровные евреи, и в то же время у них есть шанс — так им, по крайней мере, кажется — дистанцироваться от угрожаемой группы, поэтому для многих из них соблазн становится непреодолимым. Чем ближе они к евреям, тем обоснованнее их опасения и сильнее страх и тем более резкую черту они будут стараться провести между собой и евреями. Совершенно недостаточно заявить о себе как о “не-еврее”, как о том, кто не чувствует родства с этой нацией, надо доказать всем, что ты — “антиеврей”, что тебе противно даже находиться рядом с этими противными, пахнущими чесноком людишками, от которых все беды нашей жизни, чтобы ни у кого не возникло и тени сомнений относительно возможности твоих связей с еврейством.¹¹ Что касается третьей категории, то многочисленность лиц с вузовским дипломом среди активных антисемитов не требует специального обоснования — это видно невооруженным взглядом¹², а относительно “профессиональной” склонности к участию в антисемитских выступлениях вопрос остается открытым — я такой статистики не знаю, но предполагаю, что специальные исследования могли бы выявить такую склонность, хотя трактовать ее можно, конечно, по-разному. Четвертая категория комментариев не требует.

Хотя из наших рассуждений следует, что значительная часть самых рьяных антисемитов состоит из трусоватых “интеллигентов” русско-еврейского происхождения, было бы неверно преуменьшать степень их опасности и жестокости: дескать, какие из них погромщики, когда они сами себя боятся. Во-первых, когда дело доходит до погромов и грабежей, к нему моментально подключается масса всякого деклассированного сброда, который ни в какой интеллигентности не замечен и в котором немало отчаянных, привыкших к ежедневному риску ребят без всяких моральных ограничений. Во-вторых, и в данном контексте это главное, трусость вовсе не предохраняет от жестокости, напротив, очень часто именно она служит подспудным мотивом для экстремизма и безудержной жестокости.

Возьмем простой бытовой пример: в каждой дворовой подростковой компании хулиганского типа есть некий пария, которого все шпыняют, унижают и осмеивают. Несмотря на его самый низкий ранг он оказывается самым важным функциональным элементом данной социальной ячейки. Компания скорее может обходиться без занимающего перворанговое положение “атамана”, чем без этого забитого аутсайдера — именно он фактически обеспечивает сохранение структуры группы и групповую сплоченность. Прекрасно осознающий этот факт главарь малолетних хулиганов (в частности, усвоение этой механики из своего предыдущего хулиганского опыта и делает его главарем) специально заботится о появлении такого парии и удержании его в группе. Но основную часть положенных ему тычков и затрещин занимающий низший ранг получает вовсе не от “атамана”, который лишь дает первый толчок процессу и обозначает ранги, главными мучителями оказываются те члены шайки, кто лишь на ступеньку выше парии по рангу и кто не без оснований опасается поменяться с ним ролями.¹³ Чем больше они боятся этого, тем изощреннее и безогляднее их жестокость, так что главарю приходится скорее заботиться о защите заклеванного от его притеснителей.¹⁴ Поскольку действующим стимулом к мучительству выступает производное от страха желание мучителей доказать себе и другим, что они “не-парии”, что в отношении “мучитель — жертва” они занимают положение “мучителя” (их тоже мучают высшие по рангу особи, но все же не так зверски), процесс сразу же приобретает автокаталитический характер: чем больше они боятся, тем сильнее мучают и тем более страшной кажется им участь жертвы. Поэтому приостановить эскалацию жестокости может лишь внешняя сила —

вмешательство главаря, опасение переступить закон, отчаянный отпор со стороны жертвы и т. п. Внутренняя же диалектика процесса эскалации такова, что в сущности мы имеем дело с запугиванием самих себя — они боятся собственной жестокости.

Практически так же — как процесс с положительной обратной связью — функционирует механизм рекрутации новых членов в ряды антисемитских организаций и увеличения степени их экстремизма. Раскрученная действиями вполне рационально действующих организаторов антисемитская спираль пугает и тем самым втягивает в свое движение первую партию слабонервных, что значительно увеличивает его размах и видимую опасность, и так виток за витком оно превращается в действительно массовое. При этом чем больше страх, тем больший крик поднимают неопиты и тем более жуткими становятся их угрозы, тем безогляднее преступают они моральные нормы и статьи уголовного кодекса; сама механика их вовлечения в процесс не позволяет им отсиживаться в задних рядах или ратовать за умеренность и снисходительность по отношению к евреям. Экстремизм оказывается внутренне неизбежным признаком массовых движений такого “панического” типа. Паника охватывает все новые слои, причем вовлекаемые в нее массы людей боятся фактически самих себя, результатов собственного поведения. Но точно так же, по экспоненциальной кривой, происходит и снижение антисемитской активности: страх уменьшается и катализирует дальнейшее снижение своей интенсивности за счет отхода от активных действий все новых и новых “борцов с еврейской опасностью”.

Так как большинство активных антисемитов вовсе не имеют значительных претензий к евреям и в основе их активности лежит такая неспецифическая эмоция как страх, те же люди могут, если их напугать чем-то другим, стать активными борцами против каких угодно групп населения — и все это из тех же самых побуждений. Неспецифичность ядерной эмоции порождает неспецифичность агрессии. Поэтому в качестве ненавидимого “нацменьшинства” могут подойти и “кавказцы”, и “африканские студенты”¹⁵, и “сексуальные меньшинства”, и “мигранты” неопределенного происхождения. Хотя здесь должны быть и специфические нюансы, поскольку при разных направлениях агрессии наиболее угрожаемыми будут чувствовать себя различные группы населения. С точки зрения организаторов, наиболее эффективна должна быть агрессия против таких трудно определимых и аморфных категорий, как “враги народа”, “пособники империализма” или “демократы”. Возможно, раскрутить взрыв негодования против них сложнее ввиду их неуловимости, расплывчатости и отсутствия у них всем знакомых, ярких и характерных признаков, но зато в борьбу с ними можно вовлечь практически все население — и боевой энтузиазм масс будет при этом неподдельным. Таким образом, страх можно использовать для создания массового движения, вектор которого легко может быть направлен в любую сторону, лишь бы участники этого движения отчетливо воспринимали ту — “внутреннюю” — компоненту этого вектора, которая нацелена на них самих (точнее, на таких, как они сами).

Хорошим примером этого может быть ранняя история нацистского движения. Наверняка те “трезвые политики”, которые в первые годы существования НСДАП поддерживали и пестовали эту экстремистскую группировку, натравливая ее на своих политических противников, нисколько не сомневались в собственном превосходстве над крикуном Гитлером и его хулиганствующими “соратниками” — никакого политического будущего у этих экстремистов быть не могло, единственное, на что они годны, это выполнение грязной работы — мордобой, уличные потасовки и шельмование всех, кто попадет под руку. Ясно, что вожди этой маленькой группки, существующей только благодаря снисходительности и покровительству реальных политических сил, совершенно не понимают азов политической игры и, будучи

еще ровным счетом никем, грозят, придя к власти, скрутить всех в бараний рог. При этом всем своим поведением они демонстрируют нешуточность своих угроз, подчеркивая свою brutальность и агрессивность и набирая в свои ряды самых отъявленных мерзавцев, которые не скрывают, что их победа над противниками будет означать кровь и безудержное насилие по отношению ко всем, кто им может не понравиться. Но их угрозы и демонстративная кровожадность, понятное дело, типичный блеф, поскольку все марши их штурмовых отрядов не более чем спектакль, глубоко впечатляющий трусливую почтенную публику, но разыгрывающийся только с дозволения полиции, которая смотрит сквозь пальцы на эти “факельные шествия” и прочие балаганные номера только до тех пор, пока ей дают соответствующие указания “серьезные люди”, действительно обладающие властью и поддержкой влиятельных общественных сил. А нацисты не имеют массовой общественной базы и не будут ее иметь — кто же пойдет за ними, если они так старательно запугивают практически все слои населения, восстанавливая их против себя. Их удел — оставаться на положении маленькой, визжащей от бессильной ярости моськи, которую при необходимости легко будет загнать в конуру.

Несмотря на внешнюю убедительность таких политических прогнозов, Гитлер оказался более проницательным: в своей тактике он сделал ставку не на реальные массовые интересы существующих социальных групп, а на баранью пугливость “почтенной публики” (“маленького человека”, среднестатистического обывателя, единственное политически окрашенное желание которого — не участвовать в “политике”, быть от нее как можно дальше).

Вероятно, можно найти немало документальных свидетельств того, что Гитлер хорошо понимал, в чем состоит секрет его успехов, и с самого начала своей политической деятельности взял курс на запугивание обывателя — все остальные его “идеи” лишь дымовая завеса, и им он не придавал никакого значения, с легкостью меняя их на каждом повороте своего продвижения к власти. К сожалению, большинство исторических работ, посвященных Гитлеру и его соратникам, вышли уже после того, как с Гитлером было покончено, и авторы этих книг напирали большей частью на те, уже отсеянные историей факты, которые им казались решающими. Поэтому чаще всего мы имеем в таких исследованиях не рассказ о том, как Гитлеру удалось завоевать почти безграничную власть над немцами, а повествование о том, как вел бы борьбу за власть автор книги, если бы он оказался на месте Гитлера. Поэтому в данном отношении предпочтительнее книги, которые были написаны в ту пору, когда Гитлер еще боролся за власть и еще ничего не было ясно до конца. Одна из таких, переведенных на русский язык книг была впервые опубликована в Берлине в 1932 году и принадлежит перу журналиста Конрада Гейдена — еврея и социал-демократа, профессионально занимавшегося нацистским движением на заре его становления и бывшего очевидцем многих описываемых им событий. Книга представляет собой нечто среднее между разоблачением Гитлера и его апологией и содержит непосредственные впечатления автора и его размышления по поводу наблюдаемого феномена. Размышления Гейдена, правда, не впечатляют, но его впечатления дают пищу для размышлений. Вот что пишет Гейден по интересующему нас вопросу: “Настойчивость — лишь одно из свойств его (Гитлера. — *Н. В.*) пропаганды. Но еще важнее другая ее черта: активность. Под этим надо понимать не задорность речи. Ничуть не бывало. Активность заключается в следующем: небольшие группы национал-социалистов, незаслуженно носящие название “орднеров” — “людей порядка”, патрулируют ночью по улицам. Стоит им встретить человека, чей нос им не понравится, и они толкают его, наступают ему на ногу, тот протестует, и вот вызов с его стороны налицо, можно затеять драку на законном основании. В таких случаях всегда оказывалось, что Бог и полиция на стороне более сильного. <...> Что эти хулиганские поступки не были выходками отдельных лиц, а системой, партийной линией (заметим: партийной линией *пропаганды*. — *Н.В.*), об этом

свидетельствует между прочим обзор за 1921 г., помещенный партийным руководством в “Фелькишер беобахтер”... Отряд национал-социалистических “орднеров” был образован в 1920 г.; во главе его стоял часовых дел мастер по имени Эмиль Морис, человек, осужденный за хулиганство, но потом помилованный”.¹⁶ Подчеркнем: нацистский террор начался уже через полгода после того, как Гитлер вступил в партию (будущую НСДАП), и практически сразу же, как только он стал руководить партийной “пропагандой”; в 1921 году у НСДАП были уже военизированные “штурмовые отряды”, которые воевать, конечно, ни с кем не могли, но нагнать страху на всяких штатских были вполне способны.

И еще одна выразительная цитата: “Стычка в пивной или драка на улице между СА и марксистами, на стороне которых часто был численный перевес, нередко кончалась тем, что на следующий день к штурмфюреру являлось множество избитых марксистов с просьбой о вступлении в его отряд. Сначала их притягивало уважение к людям, которые были храбрее и лучше умели драться. Однако вскоре идеи национал-социализма стали вдохновлять их так же, как остальных товарищей из Штурма”.¹⁷

Сделав ставку на запугивание, Гитлер не прогадал — всего лишь через несколько лет “трезвые политики” массово устремились в ряды его партии, завидуя тем, кто испугался раньше и у кого они теперь должны были просить рекомендации. Страх, который начинался как чистый блеф со стороны пугающего, стал вполне обоснованным и реальным за счет силы тех, кто был им запуган, и он оказался сильнее всех действительных жизненных интересов немецких граждан, сплоченных этим страхом в единую шайку, полностью послушную воле “фюрера” (читай: “главаря”) и готовую к агрессии в любом указанном им направлении. Евреи же во всей этой истории с самого начала до самого конца были предназначены на роль того низкорангового “мальчика для битья”, чья жуткая участь должна была постоянно напоминать членам шайки, в каком мире они живут, и обеспечивать непритворную “активность” народных масс.

До сих пор дело излагалось таким образом, как будто бы психологическая перестройка под влиянием страха и превращение рядового обывателя в активного антисемита совершались осознанно, на основе рациональных расчетов угрожающей опасности и выбора оптимальной стратегии поведения в этих обстоятельствах.

Такой “разумный антисемитизм” в принципе возможен и в определенных обстоятельствах представляет собой форму “социальной мимикрии”, конформистскую реакцию на окружающие условия. Именно об этом пишет Наум Коржавин в своей статье “Атипичный антисемитизм”. Речь в ней идет о сегодняшнем всплеске антиеврейских, а точнее, антиизраильских настроений (и соответствующих высказываний) в европейских странах, особенно во Франции. Автор характеризует эту форму антисемитизма как “атипичную”, поскольку недоброжелатели Израиля ничего бы, вероятно, не имели против этой маленькой страны, если бы хорошие отношения с ней не заставляли европейцев вступать в конфликт с арабским миром, который почти поголовно состоит из “типичных” антисемитов. Особое значение это имеет для французов, вынужденных жить бок о бок с огромной арабской диаспорой, члены которой, став гражданами Франции, не торопятся ассимилироваться и сохраняют все свои исконные ментальные предпочтения, в том числе и неприязнь к “этим евреям”, уже пятьдесят лет постоянно бьющим их соплеменников. Угроза массовых антигосударственных выступлений со стороны французов арабского происхождения, с которыми и так не всегда удается мирно ладить, заставляет “чистокровных” французов дистанцироваться от Израиля и от евреев вообще, чтобы “задобрить” как своих “внутренних” антисемитов, так и многочисленных врагов Израиля в арабских странах, поставляющих в Европу нефть. Можно сказать, что в данном случае речь идет об антисемитизме не по внутреннему убеждению, а “со страху”. Коржавин считает такой антисемитизм нетипичным, но мы ранее пришли к выводу, что именно

“антисемитизм со страху” и есть наиболее массовая современная форма этой древней болезни. “Нетипичность” заключается лишь в осознанности истинных мотивов собственного антисемитизма: евреи плохи тем, что из-за них мы должны рисковать и жертвовать своим спокойствием, поэтому черт с ними, с евреями, — хороши они или плохи, а нам своя рубашка ближе к телу. Позиция, не отличающаяся высокой моралью и, можно согласиться с Коржавиным, не только трусливая и позорная, но и недальновидная, ведущая Европу прямо в пропасть, но тем не менее вполне понятная — иррациональной ее не назовешь.

В типичном же случае запуганный вовсе не надевает маску антисемита, а реально превращается в него. Придя к выводу: “С волками жить — по волчьей выть”, человек становится волком. И это для него единственный возможный выход: если страх достаточно велик, маска не дает избавления от него, человек не перестает думать о том, что будет, когда “они” раскроют его истинное лицо. Он сам должен считать себя одним из “них”, и только тогда он успокоится. На самом деле превращение происходит само собой, без осознания его субъектом. В какой-то момент он из чистого конформизма подхихикнул антисемитским шуткам и почувствовал при этом облегчение — напряжение, которое он всегда испытывал в “их” присутствии, несколько разрядилось. После этого он неосознанно тянется к их компании, желая вновь пережить это облегчающее душу переживание — освобождение от страха. Постепенно он привыкает к их обществу; оказывается, не так уж они страшны, напротив, по отношению друг к другу они в большинстве своем добродушны и дружелюбны, с ними вполне можно ладить. А самое главное, только с ними он не чувствует постоянной угрозы, только с ними ему комфортно. И здесь “они” сливается с “мы” — он становится одним из “наших” и уже не ощущает страха, страх перед антисемитами исчезает из его сознания, проявляясь теперь в новом облике — в форме ненависти к евреям.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что выбор массовых антисемитских выступлений в качестве примера, иллюстрирующего социально-психологический механизм превращения страха в национально или расово окрашенную ненависть, был задан не какой-то специфической особенностью еврейской нации или особым отношением “коренного населения” к евреям. Несомненно, антисемитизм имеет свои особенности, отличающие его от прочих форм шовинистической идеологии. Он имеет свою длительную историю, и “фоновый уровень” взаимоприятий и взаимоотношений между русскими и евреями определяется множеством взаимодействующих факторов. Но в данной статье эти специфические факторы сознательно вынесены за скобки — на мой взгляд, они не играют существенной роли в возникновении и в динамике острых и, самое главное, массовых проявлений антисемитизма. Их непосредственная причина коренится не в существовании евреев или в особенностях их поведения, а в самоощущении тех самых “патриотов”, которых вдруг охватывает волна ненависти. Фактически они страшатся самих себя, превращая свой страх в ненависть, направленную вовне. Можно сказать, что мы готовы возненавидеть любого, кого предполагается бить, лишь бы самим не оказаться в числе битых.

Поэтому объект ненависти определяется ситуацией и легко поддается управлению “сверху”. Мы видим, что в последние годы в России “жиды” утратили долго принадлежавшее им первое место среди тех, на кого стремится обрушиться “народный гнев”. На первый план выступили “черные”, “кавказцы” и другие столь же малодифференцированные национальные и этнические группы, включающие и негров, и вьетнамцев, и прочих “чурок”. При минимальных усилиях со стороны “руководящих инстанций” и послушной им “четвертой власти” в число этих “чурок” можно включить и “бандеровцев” или в несколько дней раздуть “антигрузинскую” или “антиэстонскую”

истерию. При этом “патриоты”, не так давно ознаменовавшие день рождения Гитлера избиением нигерийских студентов, будут кричать: “Зиг хайль! Бей фашистов!” (Кто не знает, в чем дело, и не поймет, что в данном случае речь идет о зловредных эстонцах.) Сегодня очевидно, что нет большого смысла разбираться в том, за что именно “скинхеды” или “неофашисты” так ненавидят “азербайджанцев” и “вьетнамцев”. Облик объекта их ненависти столь расплывчат и пестр, что сами ненавидящие вряд ли могут его четко охарактеризовать. Так же бессмысленно пытаться выяснить какие-то определенные черты их расистской, человеконенавистнической идеологии — ничего подобного у большинства из них просто нет. Как и в случае типичных антисемитов, все их “мировоззрение” исчерпывается нежеланием оказаться на месте тех, кого будут бить. Именно поэтому я заключил в кавычки и “скинхедов”, и тех “азербайджанцев”, которых первые сегодня якобы терпеть не могут. И то, и другое — не понятия, выражающие сущность описываемых групп, а лишь ярлычки, которые сегодня “носят” в нашем кругу. И как сегодняшние “кавказцы” завтра превратятся в “белорусов” или “якутов”, так и сегодняшние “скинхеды” (вчерашие “воины-интернационалисты”) завтра, не запнувшись ни на минуту, станут приверженцами “евразийства” и “панмонголизма” (да, собственно говоря, за последние пятнадцать лет мы уже не раз были свидетелями таких внезапных поворотов “все вдруг” среди тех, кто находится в поле внимания прессы и телевидения, — но то же самое происходит в сознании рядовых “скинхедов”).

Поэтому, чтобы разобраться в истинных причинах сегодняшних массовых проявлений национализма и расизма, надо меньше обращать внимания на идеологические побрякушки, которыми украшают себя наши “патриотические движения”, нуждающиеся хоть в каком-то подобии рационального обоснования своего поведения, и внимательно присмотреться к глубинным истокам этих, действительно массовых и действительно аутентичных общественных настроений, свидетельствующих о тяжелой хронической социальной патологии, поразившей российское общество, которое многие десятилетия вынуждено было существовать в атмосфере тотального террора и всепроникающего страха.

1 “Антисемитизм — величайшая тайна бытия. Все мы знаем, что это явление существует, но толкового и непротиворечивого объяснения ему мы дать не в состоянии” (Штайнзальц А. Интервью. — <http://www.sem40.ru/anti/history/16253/>).

2 “Власти, первоначально благосклонные к деятельности “патриотов”, вскоре начали их опасаться, так как “Память” явно вышла из-под контроля”. Так — можно сказать, просто анекдотически — оценивает события 1987 года “Краткая еврейская энциклопедия” через годы после того, как это происходило (Антисемитизм в 1970—80-е гг. // КЕЭ, том Доп. 1, кол.

1—53), что же говорить о мнениях простых обывателей, пытавшихся понять текущую ситуацию.

3 Я думаю, что основным “информационным каналом” были сами предназначенные к погрому евреи и как-то связанные с ними люди, то есть те, кому непосредственно угрожал погром. В их среде такие сведения распространялись мгновенно, а на завтра об этом говорил уже весь базар: кто с ужасом, кто со злорадством, но в том, что погром состоится, ни у кого не было сомнений.

4 “...на практике связь между ненавистью по отношению к какой-либо группе и реально совершенными ею преступлениями практически отсутствует. Например, исследователь феномена антисемитизма Даниэл Голдхаген (Daniel Goldhagen) доказал, что антисемитизм не имеет абсолютно никакой связи с реальными действиями евреев, однако успешно культивировался до такой степени, что люди, которые никогда не встречали евреев,

ненавидели их с особенной силой” (Спрос и предложение на рынке ненависти [Краткий реферат книги E.L.Glaeser “The Political Economy of Hatred”, помещенный 28.02.2005 на сайте www.antisemitismu.net]).

5 Еще раз подчеркну, что я вовсе не отрицаю роли вышеупомянутых и других факторов в возникновении феномена антисемитизма. Он возник не вчера, имеет глубокие исторические корни и, несомненно, представляет собой результат совместного действия различных социально-психологических причин, относительное значение которых может меняться в зависимости от эпохи и места своего проявления. Но в данной статье я сознательно отказываюсь от анализа этого “первичного”, “фоновое” антисемитизма, характерного для относительно спокойных в этом отношении лет, и пытаюсь понять механизм массовых пароксизмов юдофобства, время от времени возникающих на этой уже существующей в обществе базе фоновых антисемитских настроений.

6 В качестве примера можно вспомнить о Достоевском, который, не скрывая своего антисемитизма, тем не менее считал, что его позиция по отношению к “жидовщине” не исключает нормальных человеческих отношений с конкретными евреями. Ср.: “Сам Достоевский, не осознавая дикости своего отношения к евреям, писал: “Всего удивительнее мне то, как это и откуда я попал в ненавистники еврея, как народа и нации... Когда и чем заявил я ненависть к еврею? Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те из евреев, которые знакомы со мной и были в сношениях со мной, это знают, то я с самого начала и прежде всякого слова с себя это обвинение снимаю раз навсегда” (“Дневник писателя”). И в письме к А. Ковнеру он прикрывается евреями: “У меня есть знакомые евреи, есть еврейки, приходящие и теперь ко мне за советами по разным предметам, а они читают “Дневник писателя”, и хотя щекотливые, как все евреи, за еврейство, но мне не враги, а напротив приходят”” (Опендик В. Федор Достоевский и еврей Резник. // Иудея.Ру, 25 июля 2003 г., — <http://www.judea.ru/article.php3?id=836>).

7 Такое, на первый взгляд рациональное объяснение антисемитизма страхом перед злым и могущественным еврейством достаточно широко распространено. В конце XIX века Леон Пинскер (1821—1891) даже предложил термин “юдофобия”, который, по его мнению, гораздо точнее описывает данное явление, нежели общепринятое “антисемитизм”. “Особость еврейского народа — не только могла, но и должна была стать причиной юдофобии. То, что не ты, то, что разительно отличается от тебя, вполне может угрожать твоей жизни. Еврей не просто отличался от своих соседей. Он *декларировал* эти отличия” (Красильщиков А. Антисемитизм или юдофобия? Попытка диагноза. // Иудея.ру, 3 августа 2003 г. — <http://www.judea.ru/article.php3?id=848>).

8 “В глубине души — на самом ее доньшке, ведь мы редко отваживаемся на подобные мысли, — именно этого мы вообще-то и боимся больше всего. “А что, если антисемитизм — не просто необоснованный предрассудок?” — настырно нашептывает внутренний голос.

А что, если история человечества полнится проявлениями антисемитизма именно потому, что мы как народ и вправду чем-то провоцируем тех, кто иначе относился бы к нам вполне одобрительно. Страшно мучительное подозрение. Лучше уж носить кличку хриstopродавца. Или еще какую-то заведомо глупую или нелепую, которую можно было бы отнести на счет чужого идиотизма. Нет, мы, конечно, знаем, что у нас есть кое-какие неприятные национальные черты. Собственно, мы, израильские евреи, все время жалуемся друг другу на собственный народ. Мы любим поорать. Мы люди напористые. Мы люди нервные. Мы люди агрессивные. Лезем в чужие дела. Затеваем свары. Вечно пытаемся обойти закон, сэкономить, выгадать, друг друга перехитрить. Какое облегчение — выехать за границу, отдохнуть от нас в городах, где люди вежливы, говорят тихо, ни к

чему не придираются, в твою жизнь не встречаются” (Халкин Х. А вдруг антисемиты в чем-то правы? // Джерузалем пост. — <http://www.sem40.ru/anti/history/3716/>).

9 “...толпа эта шла за нами и скандировала «Зиг хайль! Русские идут!». Кажется, нам-то бояться нечего, мы не смуглые и не темноволосые, но я такого ужаса не испытывала еще никогда. Потому что — полное, абсолютное чувство беспомощности. Потому что мы не знаем, что и в ком им не понравится. Потому что мы никому не сможем помочь” (Из анонимного письма московской студентки, опубликованного в Интернете. // <http://www.sem40.ru/anti/dgihad/17162/>).

10 Так было, по-видимому, не всегда. Когда понятие “еврей” связывалось в основном с вероисповеданием, то есть, крестившись, можно было “выйти из еврейства”, соблазн перейти на сторону угрожающего евреям большинства был, вероятно, жгуч и актуален. К счастью (или к несчастью), нынешние антисемиты считают евреем всякого имеющего еврейских предков и не выделяют среди них “наших”, “хороших евреев”, которых они душить не собираются, иначе процент евреев-антисемитов был бы, по-видимому, гораздо больше.

11 Ср.: “...в Европе существует формула: «дед ассимилятор, отец крещен, сын антисемит». Это вполне естественно. У «отца» еще все-таки что-то теплое осталось в душе от воспоминаний детства, связанных с субботой, или хоть от слез матери в тот день, когда он пошел к священнику. Но уж у его сына не может быть ничего, кроме глухой досады на всех евреев за то, что его еще все-таки иногда поругивают *Judenbubom*’ом. Забыть о еврействе ему не дадут, любить еврейство он не может — остается одно: ненавидеть, и это одно с неизбежностью, в той или иной степени, повторится и в России” (Жаботинский З. Наше бытовое явление. [Фельетон, написанный в 1910 году] // <http://www.il4u.org.il/library/zhabotinsky/10.html>).

12 Совсем другие корни имеет, вероятно, привычка дореволюционных отечественных антисемитов смешивать в одну кучу “жидов и скубентов”. Здесь, по-видимому, речь идет о том, что и евреи, и образованные слои общества воспринимались массой как агенты чуждой новоевропейской (буржуазной) цивилизационной формы, подтачивающие и разрушавшие устои патриархального жизненного порядка, но это совершенно иная тема, далекая от рассматриваемых в данной статье вопросов.

13 Ср.: “...чтобы упрочить свое положение, несовершеннолетний (член шайки. — *Н. В.*) должен определить свое отношение к более слабым... Жалость к ним, а тем более — дружба с этими лицами может основательно подорвать его престиж. <...> Приемлемым является жестокое, циничное отношение. Чем непримиримее покажет себя несовершеннолетний в отношениях с нижестоящими и слабыми, тем выше может быть его статус” (Пирожков В. Ф. Криминальная психология. Психология подростковой преступности. Кн. 1. М., 1998. С. 93).

14 Как говорил Сталин: “Мы нашего Бухарчика в обиду не дадим”.

15 Казалось бы, средний обыватель гораздо чаще встречается в жизни с мерзавцами какого угодно происхождения, нежели с мерзавцами, приехавшими к нам из Африки, просто потому, что негров он видит почти исключительно по телевизору, однако он без колебаний согласится считать негров своими самыми актуальными врагами. И объяснение здесь простое: ему дали понять, что на данном этапе вопрос “кого будут бить?” решен отечественными мерзавцами (а их-то он хорошо знает и боится) в пользу именно негров.

16 Гейден К. Путь НСДАП. М., 2004. С. 53.

17 Bajer H. Lieder machen Geschichte. // Die Musik, № 9, Juni 1939, S. 592 (цит. по: Фрумкин В. Песни меняют цвет, или Как Москва перепела Берлин. // Вестник, № 8 (345), 14 апреля 2004 г. — <http://www.vestnik.com/issues/2004/0414/win/vfrumkin.htm>).

НИКОЛАЙ ВОЛЬСКИЙ

Превращенные формы страха

Опубликовано в журнале: *Звезда*, 2008, № 10

Окончание. Начало см. в № 12, 2007

Николай Николаевич Вольский (род. в 1948 г.) — кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, автор многочисленных работ по иммунологии, биохимии, смежным областям науки и книг: “Лингвистическая антропология” (Новосибирск, 2004) и “Легкое чтение: Работы по теории и истории детективного жанра” (Новосибирск, 2006). Живет в Новосибирске.

(с) Николай Вольский, 2008

Николай Вольский

Превращенные формы страха

Любовь

В первой части этой работы мы подробно разобрали психологический механизм превращения страха в ненависть на примере антисемитизма, но по ходу этого разбирательства мы видели, что тот же самый страх может быть превращен в ненависть к кому угодно. Более того, этот же страх может превращаться и в другие чувства — столь же иррациональные и столь же жгучие, выливающиеся из самого нутра субъекта и доминирующие над всеми другими мотивами его поведения.

Очень часто, когда речь идет о массовых проявлениях чувств, мы сталкиваемся в жизни со страхом, выступающим в форме любви. На первый взгляд, любовь прямо противоположна ненависти и не может проистекать из того же самого источника, но на самом деле они почти всегда выступают бок о бок, будучи двумя сторонами одной и той же медали. Те же толпы немецких бюргеров, которые столь яростно бурлили и пузырились от внезапно разгоревшейся в них ненависти к евреям, “жидовским комиссарам” и разнообразным врагам немецкой расы, воспылали нескрываемой любовью к обожаемому фюреру, душкам-эсэсовцам и всем, кто, взобравшись на трибуну, разоблачает замаскировавшихся врагов и грозит им. Столь бурные нежные чувства, проявляемые по отношению к малознакомым, вообще-то говоря, людям, роднит с уже рассмотренной нами ненавистью их иррациональность. Казалось бы, с чего вдруг среднестатистическая немецкая домохозяйка должна испытывать любовь к Гитлеру, визжать и бесноваться при его появлении на митинге (кстати сказать, как она там

оказалась? что ей делать на политических митингах?), с восторгом слушать его сумбурные истерические речи? Откуда у нее неподдельный блеск в глазах и радостная возбужденность? Нет сомнений, она во власти аффекта, вызванного близостью к предмету ее страсти. Но как объяснить возникновение этого чувства? Чем мог привлечь к себе миллионы женских сердец малосимпатичный на вид (если не сказать, плюгавый и карикатурный) фюрер?¹ Ведь он ничем не был похож на обычных дамских кумиров. В чем же был секрет его обаяния, которому не могли противостоять не только чувствительные дамочки, но и звероподобные мужчины, вероятно, впервые в жизни на этих митингах испытывавшие чувство бескорыстной любви, обожания и преданности?

Для внешнего наблюдателя весь этот взрыв верноподданнических чувств выглядит не иначе как проявление массового психоза. Но, с другой стороны, очевидно, что этот “психоз” вполне управляем — градус беснования толпы, рвущейся выразить свое обожание кумиру, можно по желанию режиссера как повысить, так и понизить. Следовательно, толпа, которую мы рассматриваем как находящуюся во власти слепой, безумной страсти, не так уж и безумна — она чутко реагирует на подаваемые ей извне сигналы, которых мы, находясь за пределами этой толпы, просто не замечаем. Но это значит, что поведение толпы не хаотично, что в основе его лежит какой-то умопостигаемый психологический механизм. Часто такая патологическая “любовь” к вождю объясняется проявлением подавленной сексуальности: дескать, люди с неудовлетворенными эротическими потребностями неосознанно переносят свою жажду любви на фюрера. Вероятно, в этом есть большая доля правды. Но почему эти страдающие от недостатка любви люди выбрали такой странный объект для приложения своих эротических проекций? Не естественнее ли было бы избрать своим сексуальным кумиром красавца-киноартиста или олимпийского чемпиона по спортивному многоборью? И почему на роль кумиров всегда избираются только те политические лидеры, чья деятельность по всем Божеским и человеческим законам подлежит рассмотрению международного трибунала? Черчилль у себя в стране был не менее популярен, чем Гитлер в Германии, и у него наверняка были какие-то экзальтированные поклонницы, но ясно, что их количество не может идти ни в какое сравнение с миллионами гитлеровских обожателей и обожательниц.

Многие, кому довелось присутствовать на публичных выступлениях Гитлера, пытаясь описать свои тогдашние впечатления и переживания, утверждают, что фюрер будто бы был замечательным оратором. Как гаммельнский крысолов, он заморозил своими речами простодушных немцев и завел их в гибельную трясиину. В это можно было бы поверить, если бы сегодня каждый желающий не мог познакомиться с этими речами — в их содержании нет ничего особенного, это обычная агитпроповская труха, которую мы в свое время вынуждены были слушать постоянно и не испытывали при этом ни малейшего воодушевления. Единственное отличие Гитлера от известных нам записных партийных докладчиков — так сказать, ораторский секрет Гитлера — заключается в том, что он озвучивал свои банальности истерическим тоном, временами просто кликушествуя, взвинчивая свою аудиторию и сам доходя до исступления, и строил любую свою речь на угрозах всем, кто только попадался ему на язык². Ничего особо убедительного, проникновенного и берущего за душу в этих речах не найдешь. Ясно, что воспоминания очевидцев представляют собой лишь рационализацию пережитого ими опыта: они помнят свой тогдашний душевный трепет, но не могут сегодня обосновать свои переживания. Остается только уверять себя и других в том, что этот человек обладал непостижимой способностью воздействовать на души слушателей. В то же время другой народный кумир — товарищ Сталин — не считался особенно блестящим оратором и вовсе не делал ставки на публичные выступления, однако массы любили его не меньше, чем немцы фюрера, и когда он все же произносил речь, ее воздействие на слушателей было столь же потрясающим.

И, наконец, если уж не удастся убедительно объяснить возникновение массовых нежных чувств к диктатору ни его сверхчеловеческой сексапильностью, ни магическими ораторскими талантами, остается объявить его “харизматическим лидером”, уж это сразу поставит все точки над «і». Слово найдено — это и академично, и современно, и — самое главное — сразу разъясняет все существо дела. Ведь кого, по определению, следует считать харизматической личностью — человека, который добивается авторитета, уважения и даже поклонения широких народных масс, не обладая никакими очевидными выдающимися талантами и не используя для этого никаких известных нам средств. Но ведь это определение прямо указывает на Гитлера: человек со вздорными, бредовыми человеконенавистническими идеями, рядовой завсегдатай дешевых пивных, без имени, без связей, без стоявшего за ним крупного капитала, без какой-либо внятной экономической и политической программы смог непонятно чем обольстить и увлечь за собой один из самых многочисленных и цивилизованных европейских народов и за несколько лет довел и Германию и почти всю Европу до катастрофы. Как же иначе объяснить эту головокружительную карьеру, если не врожденной “харизмой”?

К сожалению, если отбросить вполне понятную иронию, объяснительная сила подобных доводов равна нулю. Слово “харизма” ничего не проясняет и лишь обозначает отказ от дальнейшего поиска рациональных причин наблюдаемого нами явления. “Теорией” это квазиобъяснение могут считать только преподаватели социологии (политологии, глобалистики, геополитики и тому подобных дисциплин) и их питомцы, скачивающие “рефераты” из Интернета, но с них какой может быть спрос.

Посему отбросим все это и пойдем вслед за Джорджем Оруэллом, впервые объяснившим, что массовая любовь к Большому Брату коренится в страхе перед ним. В сущности, превращение страха в любовь происходит очень просто и вполне закономерно. Если кто-то представляет для меня угрозу, то, естественно, первой реакцией на нее будет мое негативное отношение к источнику угрозы — враждебность, гнев, ненависть — и стремление уничтожить или нейтрализовать угрожающий мне предмет. Если же обстоятельства таковы, что я не могу рассчитывать на эффективное сопротивление и не вижу способов защитить себя, мое негативное отношение к угрожающему выразится в стремлении удалиться от него на безопасное расстояние — в реакции капитуляции и бегства. Если, как это часто бывает, угроза возникла из какого-то конфликта интересов, моя капитуляция может выражаться в подчинении требованиям угрожающей стороны и тем самым — в устранении угрозы. Но совершенно иная ситуация возникает в тех случаях, когда я не вижу возможности защититься и одновременно не могу избежать угрозы (то есть “откупиться” или “убежать”) — я оказываюсь во власти того, кто представляет для меня опасность и моя судьба зависит от его произвола. Никакие мои действия не могут изменить ситуацию, и мне остается лишь бояться и уповать на счастливый случай — потенциальных жертв много, и, Бог даст, я как-нибудь это переживу — авось да небось черный жребий на мою долю не выпадет. Обстоятельства лишили меня возможности рациональных действий и тем самым сняли проблему: что делать с угрозой? — я с ней ничего поделать не могу, но у меня остается другая, не менее жгучая проблема: что делать со страхом? Если страх велик, жизнь становится просто невыносимой и теряет всякий смысл: о чем я могу беспокоиться и к чему стремиться, когда все мое существование висит на волоске и полностью зависит от прихоти и каприза лица, на чьи решения я не могу оказать никакого воздействия? Чтобы продолжать существовать и чувствовать себя живым человеком, я должен что-то предпринять, как-то хитро извернуться и заглушить свой страх. Я должен убедить себя, что мои страхи если и не совсем беспочвенны, то явно преувеличены. При этом головоломность трюка, который мне предстоит проделать, заключается в том, что в момент трансформации страх достигает высшей степени интенсивности — он становится нестерпимым, и именно поэтому я должен перестать его ощущать. Как только страх уменьшится, войдет в рамки

переносимого, я вновь смогу его ощутить, почувствовать и осознать угрозу, но на пике своей интенсивности он полностью исчезает из сознания — я перестаю бояться и начинаю верить в благополучный исход, вопреки показаниям моих органов чувств, логическим рассуждениям и жизненному опыту.

То есть, сформулируем это открытым текстом: чем больше мой страх, тем меньше я боюсь. Это и есть знаменитое оруэлловское “двоемыслие”. Иными словами, если здравомыслящий человек не чувствует страха в угрожающей ситуации, это только подтверждает его панический страх. Ни в коем случае нельзя рассматривать такое поведение как притворство и сознательную ложь. Испуганный, но сохраняющий способность скрывать свой страх человек просто еще не испугался до такой степени, которая привела бы его в состояние “двоемыслия”. Но как только эта степень достигнута, происходит “расщепление” чувства: в глубине психики чувство продолжает существовать и может быть при этом весьма интенсивным, определяя важнейшие параметры поведения, но в светлом поле сознания оно практически не появляется (или присутствует лишь в очень ослабленном, не травмирующем человека виде) и замещается реактивными психическими образованиями — другими чувствами, которые позволяют согласовать возникающие эмоциональные реакции с общей структурой психики субъекта.

Врачи хорошо знают состояние такого двоемыслия, возникающее у многих тяжелых, обреченных (особенно у онкологических) больных: если больной, еще вчера со страхом прислушивавшийся к своим ощущениям и с трепетом ожидавший от врача сообщений о результатах своего обследования, вдруг обретает видимое хладнокровие и веру в успех лечения, можно не сомневаться, что “заслонка” в его мозгу “упала” и двоемыслие достигнуто — теперь никакие симптомы и никакая новая информация не смогут поколебать его уверенности в благополучном исходе лечения. Врач может теперь не задумываться над проблемой, как скрыть от больного его ужасный диагноз, — впавший в двоемыслие пациент примет на веру любое, самое абсурдное объяснение, лишь бы оно не расходилось с его уверенностью в скором выздоровлении. В то же время такая непоколебимая и неизвестно на чем основанная вера является несомненным доказательством того, что больной абсолютно уверен в неизбежности своей близкой кончины. Он перестал сомневаться, теперь ему известно, чем он болен, но потому-то с этого момента он как бы “не знает” своего диагноза. Все остальное появляется как неизбежное следствие двоемыслия. Такой больной легко поверит и в то, что дважды два — пять, что мир — это война и что Волга впадает в Балтийское море (даже если он всю жизнь прожил в Астрахани).

Гениальность Оруэлла, предложившего понятие “двоемыслия” и детально описавшего этиологию, симптоматику и патогенез этого распространеннейшего в наше время явления, в том, что он исследовал его эпидемические формы, пользуясь только косвенными свидетельствами из-за границы и непосредственным наблюдением стертых и атипичных случаев в окружающей его действительности, в то время как десятки миллионов не самых глупых людей, проживших всю свою сознательную (и бессознательную) жизнь в состоянии двоемыслия среди практически поголовно зараженного этим недугом населения, умудряются до сих пор не понимать, что это такое, даже после прочтения оруэлловского романа (включая и тех, кто высказывал в печати разнообразные благоглупости о “1984” вообще и о “двоемыслии” в частности). Действительно ли они не понимают, о чем, собственно, идет речь или мы имеем дело с продолжением того же самого двоемыслия?

Эти десятки миллионов взрослых разумных людей (возьмем только тех, кто лично не попал ни в Воркуту, ни на Колыму) всерьез уверяли друг друга в том, что они, видевшие своими глазами то, что происходило в стране в 1937-м или 1947-м (или в любом другом

году, начиная с 1917-го), “ничего не знали”. То есть они просто не подозревали, что у нас в СССР десятилетиями шло массовое, планомерное и безостановочное уничтожение “врагов народа”, и все эти годы верили в благие намерения коммунистической партии и в благородство и справедливость сотрудников тех “органов”, кому партия доверила “карающий меч революции”. Дескать, они настолько были заморочены советской пропагандой, что даже те очевидные зверства и явные нарушения закона, свидетелями которых им пришлось быть, расценивались ими как исключительные случаи, как отклонения от общесоветской нормы, как головотяпство, чьи-то происки и т. п., но в целом они не сомневались в том, что им сообщали газеты, радио и лекторы на собраниях и митингах. Мало чем отличаются и соответствующие воспоминания немцев. Если отбросить предположение о том, что целые поколения наших отцов и дедов были слабоумными, поверить их словам просто невозможно.

Приходится признать, что мы имеем дело с элементарным лицемерием: люди, вынужденные в те годы помалкивать, слушая заведомую ложь, а в некоторых случаях и поддакивать ей — голосовать “за”, что-то подписывать, зачитывать с трибуны подsunутые им тексты, кричать “ура” — не хотят признаваться в своих, может быть и простительных, но тем не менее явных грехах — беспринципности, слабодушии, черствости, отсутствии милосердия к своим ближним и т. д. Правдоподобно ли такое объяснение? Вполне, если иметь в виду конкретные, пусть и весьма многочисленные случаи. Люди чувствуют, что хвастаться им в данной ситуации нечем, и придумывают байки о своем неведении, а следовательно, и о невинности.

Но в качестве объяснения массового поведения представителей этих поколений такая теория никуда не годится. Она лишь запутывает дело. Во-первых, если миллионы стыдятся своего прошлого поведения, зачем они вообще касаются этой темы? Кто их за язык тянет? Они же сами твердят об этом на всех углах (точнее, твердили; сейчас широкая публика не испытывает интереса к этим темам). И — самое главное — во-вторых, еще можно было бы их понять, если бы они рассказывали свои байки каким-то приезжим или тем, кто по возрасту не мог всего этого видеть и слышать, но они-то делятся своими воспоминаниями в том числе друг с другом! И это уже вообще сумасшедший дом! Это все равно как если бы Иван рассказывал своему приятелю с детских лет Петру, что он якобы только из закрытого доклада Хрущева узнал о том, что вода, оказывается, не горит, и в свою очередь выслушивал аналогичное признание Петра. С какой стати они стали бы лгать друг другу сегодня, заранее понимая, что ни тот ни другой в такую ложь поверить не может. Понятно, почему они вралі друг другу вчера, боясь даже жене под одеялом сообщить, что дважды два четыре, но сегодня-то к чему эта жалкая комедия?

Мы не рискнули признать их слабоумными, а в результате пришли к выводу о том, что они массово ведут себя как совсем умалишенные. Но это не так. Ясно, что они не глупее нас с вами. Тогда что же, приходится согласиться, что дело обстоит именно так, как они рассказывают: большевистская пропаганда действительно сумела так, что называется, отвести людям глаза, что они не замечали очевидных вещей и в самом деле ничего не знали? А теперь, когда им открыли глаза, они сами удивляются несуразности своих рассказов о том времени, но, будучи вполне искренни и простодушны, откровенно передают свои впечатления тех лет. Но и эта версия никуда не годится. Ей резко противоречит поведение тех же самых людей в описываемые годы. В своих публичных высказываниях и поступках никто из них никогда не преступал черты дозволенного — все понимали, где проходят границы минного поля, и, естественно, старались к ним не приближаться. А теперь они уверяют, что никогда не имели представления о существовании мин. Очень даже имели! Не будучи осведомлены во всех подробностях, они, тем не менее, нисколько не заблуждались относительно того, в какой стране и в какую эпоху они живут. Их поведение строго соответствовало реальным условиям

существования, а не тем благостным картинкам, которые рисовали им газеты и кинофильмы. Но если это так, то почему они были потрясены и ошарашены прозвучавшими в 1956 г. с высокой партийной трибуны “разоблачениями”, ведь то, о чем в них сообщалось, было известно любому школьнику — иначе было просто невозможно учиться в советской школе.

Вывод: описать состояние сознания этих людей можно только с помощью оруэлловского понятия. Неверно было бы утверждать, что массы осознавали людоедскую сущность власти, но столь же неверно, что они ее не осознавали. Обычные понятия “знания” и “незнания” в данном случае не работают, здесь требуется именно предложенное Оруэллом “знание/незнание”, заключающееся в том, что, воспринимая нечто “страшное”, человек отчетливо различает его черты (иначе он не мог бы распознать его как “страшное”), но, поскольку страх слишком велик, психическая цензура не пропускает образ “страшного” в сознание и, следовательно, человек его не видит и не ощущает — для него оно просто не существует³. В картине мира образуется пробел — “дыра” с четкими, ясно видимыми контурами, обрисовывающими форму этого “несуществующего” предмета. Стол я вижу, тарелки и ложки на нем вижу, чугунок на печке вижу, лавку вижу, а вон тот окровавленный топор под лавкой — не вижу, его “нет”, — и потому спокойно сажусь обедать. То есть вся картина актуально наличествующей реальности делится в сознании “двоемыслящего” на существующие и “несуществующие” объекты, из которых и те и другие, присутствуя здесь и сейчас, определяют реакции и поведение человека в данной ситуации. При этом как существующие, так и “несуществующие” (и, следовательно, “неощущаемые”) предметы воспринимаются субъектом в равной мере адекватно и отчетливо, так что если вдруг спросить: “Где нет топора?”, он, захваченный врасплох, может ткнуть пальцем в “невидимый” топор, после чего сам будет удивляться своему ответу и тому ужасу, который он на мгновение испытал.

Но, удалив из сознания “страшное”, необходимо удалить также и страх, который сопровождает восприятие этого “несуществующего” предмета, ведь вся психологическая перестройка была предпринята субъектом ввиду невозможности жить с ощущением постоянного непереносимого страха. Эмоция, которую человек испытывает при столкновении с “несуществующим”, должна превратиться в нечто иное и лишь в этой превращенной форме может быть им осознана. Мы подробно разобрали, как страх выступает у антисемита в форме ненависти, но параллельно с этим мы могли бы говорить о его проявлении в форме любви — позитивного чувства по отношению к своим друзьям-антисемитам. В данном случае появление теплых дружеских чувств к тем, убоявшись кого, человек и стал антисемитом, можно объяснить вторичным процессом — реакцией на превращение страха в ненависть к евреям. Если я стал врагом евреям, то и они стали моими врагами, но враги моих врагов — мои друзья. Следовательно, антисемиты автоматически становятся моими друзьями, и вообще они — молодцы ребята, поскольку борются с этими ненавистными евреями. Если они стали моими друзьями, у меня больше нет оснований их бояться — но ведь к этому я и стремился, это и было целью моей психологической перестройки. С другой стороны, превращение страха в любовь может происходить и прямо, без опосредования этого процесса ненавистью или каким-либо другим чувством. Когда я кого-либо боюсь и не имею возможности спастись от угрозы с его стороны, я могу попытаться улучшить свое самочувствие, внутренне объявив себя союзником того, кто представляет для меня угрозу. Именно так вели себя “антисемиты со страху” — их ненависть к евреям обеспечивала им союз со страшившими их погромщиками.

Но если угроза не направлена на какую-то определенную группу лиц, а касается всех и каждого, остается лишь один выход — подольститься к угрожающему, каким-то образом

уверить его в своей полной лояльности и даже преданности, убедить его в своем дружеском расположении и тем самым отвести от себя роль жертвы. Пусть он займется в первую очередь теми, кто его не любит и сопротивляется ему, а меня оставит в покое, поскольку я ему не враг и хорошо к нему отношусь. Конечно, если бы я рассуждал рационально, такие мысли и чувства нисколько не изменили бы степени моих опасений, потому что, как мы постулировали вначале, у меня нет реальных возможностей повлиять на установки угрожающего мне субъекта, его поведение для меня непредсказуемо, и, как бы я к нему внутренне не относился, это не может повлиять на выбор очередной жертвы. Но цель происходящей во мне внутренней перестройки не в том, чтобы уменьшить грозящую мне опасность (это невозможно), а в том, чтобы улучшить свой внутренний эмоциональный баланс — заглушить свой страх и хотя бы немного успокоиться.

И эта цель достижима. Посчитав себя доброжелателем и другом того, от кого исходит угроза, я вступаю с ним в особые отношения: “плохой” для других, он оказывается “хорошим” для меня. Следовательно, как бы ни был он ужасен, у него есть и хорошие стороны. Со многими — в том числе и со мной — он гуманен и доброжелателен, ведь сколько раз мог бритвой полоснуть, а он только покажет ее и спрячет. При одной мысли об этом мое сердце переполняется благодарностью и симпатией. Все же он замечательный человек. Пусть он жесток с теми “другими”, которые стали на его пути или чем-то его разгневали, но мы — его друзья и потому можем чувствовать себя под его могущественной защитой. Мы ведь в полной его власти, одним движением брови он мог бы не оставить от нас и мокрого места, и тем не менее он спокойно разговаривает, шутит, смеется вместе с нами. Ах, сколько же в нем врожденного такта, благородства, как естественно он держится, как безо всякой напыщенности и в то же время веско звучат его слова, каждое из которых может изменить ход истории! Те, кто с ним заодно, — а я, безусловно, из их числа — могут не беспокоиться о завтрашнем дне, вместе с ним они войдут в число победителей, которым принадлежит будущее. Пусть трепещут те, кто не видит его правоты, не понимает, насколько он мудр и всемогущ — я-то вижу это, и меня охватывает восторг, чувство преданности и обожания. Какое счастье просто видеть этого великого человека, смеяться его шуткам, чувствовать его внимание и расположение. Я маленький человек, он, скорее всего, и не знает о моем существовании, но я принадлежу к массе его сторонников, и потому могу отнестись часть его покровительственного внимания и к себе лично. Меня охватывает порыв благодарности и любви. И чем страшнее участь тех, кто оказался в числе его врагов, тем выше захлестывает меня волна признательности к тому, кто не отталкивает меня и позволяет мне любить его и надеяться на взаимность.

То, что эти рассуждения не являются только теоретическими построениями на тему психологии страха, а имеют под собой основу и нечто подобное происходило в душе реальных людей, обуславливая их поведение, можно проиллюстрировать одним часто цитируемым текстом.

22 апреля 1936 г. К. И. Чуковский записал в дневнике свои впечатления от того заседания X съезда комсомола, на котором они с Пастернаком сподобились увидеть товарища Сталина, пришедшего поприветствовать передовую молодежь страны Советов. Чуковскому в это время было 54 года, это был старый битый волк, обладавший желчным характером, пронизательным умом и вовсе не склонный к прекрасодушию и сентиментальности. Однако вот *что* и *как* он пишет о появлении на съезде Сталина: “Что сделалось с залом! А ОН стоял немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко (свекловод с Киевщины, ударница сельского хозяйства. — *Н. В.*). И мы все ревновали, завидовали — счастливая! Каждый

его жест воспринимали с благоговением. *Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства* (курсив мой. — Н. В.). Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой. Все мы так и зашептали: «Часы, часы, он показал часы!» — и потом, расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах. Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: «Ах, эта Демченко, заслоняет его!» (на минуту). Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью”⁴.

Во-первых, надо сразу же отвергнуть предположение, что многоопытный и предусмотрительный Корней Иванович ввел этот пассаж в свои записи, дабы обезопасить себя на случай, если его дневник будут читать в НКВД. Было бы слишком наивным не понимать, что если дело дошло до обыска и изъятия дневника, то никакие славословия в адрес вождей спасти уже не могут. Все прекрасно знали, что сажают не за какие-то поступки или образ мыслей, а потому что решили посадить — если такое решение принято, то за обличительным материалом дело не станет. Против гипотезы о лицемерном и маскировочном характере излияний Чуковского говорит как вся ситуация, так и то, в какой манере она излагается. Еще можно было бы думать о симуляции любви к вождю на публике, в зале, где полным-полно потенциальных доносчиков и тайных агентов, но какой смысл продолжать симуляцию наедине с Пастернаком, он-то не может передать эту информацию тем, для кого она предназначена. Нет, Чуковский явно пишет о том, что он действительно думает и чувствует в этот момент. Более того, он не скрывает своего собственного удивления этими чувствами, они самому ему кажутся странными и необычными. И в самом деле, во всем его дневнике мы не встретим ничего подобного этой записи — даже к своим подросшим детям Чуковский не испытывал такого умиления и обожания, как к совершенно чуждому для него Сталину. Кроме того, у нас есть еще одно параллельное свидетельство искренности слов Чуковского и Пастернака — киноаппарат запечатлел лица тех, о ком идет речь, и их выражение не оставляет сомнений в подлинности чувств⁵.

Но, если чувства были непритворными, как же можно совместить любовь к Сталину со всем, что мы знаем об общем душевном складе и моральном облике уважаемых нами писателей? Неужели они не понимали, с кем имеют дело? Это совершенно невероятно. Вся история становления большевистского режима прошла на их глазах, и они отчетливо сознавали, что нет такого предела зверства, которого бы многократно и хладнокровно не перешагнули называющие себя коммунистами уголовники, возглавляемые усатым “паханом”, держащим их самих в кулаке и науськивающим на новые кровавые “подвиги”⁶. Что представляет собой Сталин, и Чуковский, и Пастернак, да и подавляющее большинство делегатов X съезда комсомола знали гораздо лучше, чем мы, — каждой клеткой тела, болезненно съеживающейся при одном только звуке этого имени. Герой Оруэлла, вышедший из комнаты 101, не смог бы рассказать им ничего нового — они сами вынуждены были жить в стране, превращенной в пыточную камеру.

Всего лишь за пару лет до этого пароксизма любовной страсти к вождю, описанного и потому ставшего достоянием истории (а сколько их осталось незафиксированными на бумаге, даже если ограничиться лишь примерами Корнея Ивановича и Бориса Леонидовича?), Пастернак, выслушав от Мандельштама его знаменитое “Мы живем, под собою не чуя страны...”, заявил, не раздумывая, что такое поведение равносильно самоубийству, и потребовал, чтобы Мандельштам, решив покончить с собой, не тащил в могилу и других⁷. Итак, Пастернак вполне отдавал себе отчет в том, что представляет собой большевистская власть и человек, ставший олицетворением этой власти, на ссору с которой решился Мандельштам. Смертная казнь за “стишки” — и не только для того, кто писал, но и для всех, кто слушал “такое”, — дело настолько обычное, что этот способ самоубийства еще надежнее, чем традиционные пуля, веревка или яд.

Поэтому любовь двух пожилых мужчин — не просто разумных, а блистательно умных, образованных и хорошо информированных, совестливых, душевно благородных, не раз доказавших свою храбрость и честность, — к людоеду и опаснейшему преступнику Сталину нельзя объяснить ни мазохизмом, ни глупостью, ни малодушием — все эти объяснения лежат не в той плоскости. Невозможна личность, в которой совмещались бы столь противоположные чувства и склонности, их сосуществование свидетельствовало бы о распаде личности. Но есть какая-то мера страха, перейдя через которую, он становится несовместим с нормальной человеческой психикой, и тогда возникает защитная реакция — страх исчезает из сознания, погружаясь в глубину подсознания и “выныривая” на поверхность уже в другом обличье, в том числе и в виде любви.

Сама пароксизмальность проявлений такой “любви” прямо указывает на ее иррациональный, противоестественный характер. При удалении от “объекта страсти” чувства быстро тускнеют и любовь сходит на нет. Человек не тоскует по своему “любимому” и не стремится к прямому общению с ним, однако при каждой встрече со своим кумиром вновь испытывает всплеск обожания и восхищения. Поэтому наибольшей концентрации любовные чувства достигают в ближайшем окружении “вождя”, среди тех, кто постоянно вступает с ним в контакт и непосредственно от него зависит.

Начальник, который никого собственноручно не бьет по морде, не стирает в порошок и не смешивает с грязью, человек вежливый, добродушный и справедливый, может быть, и заслужит уважение и признательность подчиненных, но он никогда не почувствует той атмосферы поголовного обожания и преданности, которая окружает всем известного хама, мерзавца и изверга. Шофер или ординарец какого-нибудь командира дивизии, регулярно получающие от него свою порцию пинков, затрещин и угроз, фанатически преданы своему командиру, считают его величайшим полководцем и гордятся своей близостью к нему, почти так же относятся к наделенному властью хаму и “штабные крысы”, с восторгом рассказывающие о припадках его ярости по малейшему поводу и его “отходчивости” (скажем, на передовую он отправляет далеко не каждого, кто попадет к нему под горячую руку, чаще дело ограничивается рукоприкладством и угрозами расстрелять на месте). В то же время рядовой хоззвода, который встречается с этим высоким чином только на общем построении, может смотреть на своего комдива гораздо более трезвым взглядом, а прибывший из штаба армии офицер связи может и вовсе презирать позорящее командирское звание самодура, особенно если сравнит его со своим начальником, который, конечно, тоже любит материться и размахивать кулаками, но зато справедлив в своем гневе и имеет массу других достоинств.

Поскольку рациональной основой превращения страха в любовь является стремление субъекта внутренне “стать на сторону” того, кого он страшится, эта реакция может возникать и в более стертых случаях, когда страх не очень велик, но все же, постоянно присутствуя в сознании, создает тягостную тревожную атмосферу и отрицательный эмоциональный фон, мешающий человеку радоваться жизни. Фундаментальное значение имеет здесь ощущение субъектом собственной беспомощности. Такая оценка ситуации, будь она реальная или мнимая, парализует его действительное сопротивление угрозе. Если бы человек видел способ бороться со “страшным” и как-то повышать свои шансы уберечься от него, страх играл бы продуктивную роль, побуждая субъекта к активной целенаправленной деятельности (хотя бы и к бегству), и вследствие этого сохранялся бы в сознании как один из важнейших элементов в структуре актуально действующих мотивов поведения. Но если человек приходит к выводу, что всякое противодействие бесполезно, его ощущение страха теряет всякий смысл: сколько не бойся, а сделать все равно ничего нельзя. Поэтому единственно эффективной тактикой будет избавление от неприятного и бесполезного ощущения. Это можно рассматривать как оптимизацию внутренней психологической структуры.

Такая перестройка сознания, рассматриваемая с точки зрения “отражения действительности”, выглядит иррациональной, поскольку ее результатом будет изменение истинного мнения субъекта о ситуации, в которой он находится, на ложное мнение, неадекватно описывающее реальность. В то же время, с “прагматической” точки зрения, эта перестройка рациональна, так как уменьшает бесплодные затраты душевных ресурсов индивида и позволяет ему направить свои жизненные силы на какие-то другие, достижимые цели.

Казалось бы, такой фаталистический подход — чему быть, того не миновать — эволюционно оправдан: шансы выжить и преуспеть выше у того, кто не будет напрасно беспокоиться из-за нависшей над ним опасности, а “вынесет ее за скобки” как присущую жизни константу и будет упорно возделывать свой огород на склоне вулкана. Но на деле (особенно если речь идет о социально обусловленной опасности) внутренняя капитуляция и готовность психологически “перебежать” на сторону будущего победителя, чьей победы ты как раз и страшишься, очень часто ведут к увеличению сил того, кого ты боишься, и, следовательно, к возрастанию реальной угрозы. Хорошо известен феномен самооправдывающегося прогноза: если множество вкладчиков предполагает, что банк лопнет, и требует возврата денег, то это действительно приводит к краху банка и невыполнению им своих обязательств. Точно так же страх перед какой-то социальной тенденцией, вызывающий у миллионов людей чувство беспомощности и делающий их психологическими перебежчиками в стан врага, приводит к реальной победе этой тенденции и тем самым “оправдывает” их моральную капитуляцию. Каждый, кто превратил свой страх в любовь к “страшному”, может сказать себе: “Я так и знал, что этим кончится. Правильно я сделал, что не стал бороться. Плетью обуха не перешибешь”. Но такое оправдание собственного малодушия иллюзорно и тесно связано с первородным человеческим грехом. Получив, в отличие от животных, способность к самоопределению, человек обязан видеть черное как черное, даже если ему очень хотелось бы видеть на его месте белое. Уклоняясь с этого пути, пытаясь “сжульничать” и “передернуть карты” в своей жизненной игре, человек совершает грех по отношению к собственному “я” и своему Богу — и, так как ни себя, ни Бога не обманешь, эта жульническая уловка оборачивается карой за грех слабости и малодушия. Как ни малы эти индивидуальные грехи — их легко понять и простить каждому отдельному грешнику, — в условиях современного цивилизованного общества миллионы таких грешков суммируются (и даже перемножаются: страх накручивается на страх и грех — на грех) в гигантский народный грех, расплатой за который будут мор, глад, трус и прочие “египетские казни”. Тот монстр, перед которым внутренне дрожат миллионы, создан в конечном итоге волей этих миллионов, их страхом и желанием психологического комфорта. Тот факт, что в большинстве случаев выбор индивидуальной тактики реагирования на “страшное” происходит на подсознательном уровне, не отменяет ответственности: как бы то ни было, решение принимает целостная личность, исходя из своего характера и руководствуясь своими мировоззренческими и моральными установками.

Можно сказать, что глубинной основой таких грехов является слабость веры современного человека — неверие, которое надо искать не столько в отходе от религиозных традиций и практик, сколько в том, что человек оказывается не готовым мужественно встретить свою судьбу, полагаясь на Провидение Господне. Не уповая на Бога, он желает дополнительных гарантий своего личного благополучия и с этой целью приносит жертвы всякому божку и демону, которого он встречает на жизненном пути и который его страшит. Примирение со “страшным”, даже всего лишь пассивное согласие на “страшное”, неспособность настойчиво навязывать окружению собственное “я”, оставаясь верным собственному Богу и идя на связанный с этим риск, отчуждаются от индивидуальных носителей этих качеств и, благодаря действию социальных механизмов, предстают перед ними же как внешняя всеодолевающая сила, как их *fatum*, против

которого индивид бессилён и который ему суждено претерпеть. Такова простая, но грозная в своих последствиях диалектика превращённых форм страха.

Рассмотрим пример того, как еле заметный подсознательный крен в настроениях масс в сторону превращения страха в “любовь” приводит к значимым историческим результатам. Кто-то очень метко сказал, что большевики уже наполовину выиграли будущую гражданскую войну, добившись закрепления за своей партией этого названия — “большевики”. И действительно, когда страна раскололась на “белых”, “красных” и прочих с их разнообразными цветовыми оттенками, перед каждым её гражданином стала проблема выбора: за кем идти? Эту проблему пришлось как-то решать любому российскому обывателю, независимо от степени его сознательной вовлечённости в политические распри. Конечно, девяносто процентов населения Российской империи не желали участвовать ни в каких политических битвах и хотели только одного: чтобы их оставили в покое и дали мирно существовать — проблемы государственного строительства и политического устройства общества они охотно передоверили бы кому-нибудь более грамотному в этих вопросах и имеющему какие-то идеи на этот счёт. Массы согласились бы на любой политический строй, лишь бы он был относительно справедливым, с их точки зрения, и не требовал бы от них перенесения чрезмерных, опять же с их точки зрения, тягот и лишений — лишениями они уже были сыты по горло в связи с тянувшейся четвертый год войной с Германией. Такая “политическая индифферентность” подавляющего большинства населения в основе своей вполне рациональна. Что может сказать рядовой, пусть даже получивший некоторое образование обыватель по поводу преимуществ парламентаризма или по поводу устройства государственных финансов? Все это находится за пределом его кругозора и житейского опыта. Тем более бессмысленно было задавать вопросы такого рода русскому крестьянину или пастуху-казаху, жившим и в начале XX века почти с теми же понятиями об устройстве общества, что и их предки в XIII веке. Разные группы населения могут предъявлять власти какие-то конкретные требования, но заниматься их согласованием и организовывать государственное строительство среднему, взятому с улицы человеку совершенно не по силам. Рядовой житель страны и сам прекрасно это понимает, а потому в обычных условиях не особенно интересуется подобными вопросами.

Но гражданская война лишила обывателей права быть аполитичными. Всякий человек, не имеющий никакого желания ввязываться в драку, но не решившийся или не сумевший покинуть охваченную пожаром страну, вынужден был принять, хотя бы формально, чью-то сторону. Поляризация сил была такова, что повсюду господствовал лозунг: кто не с нами, тот против нас. И следовательно, тот, кто не выражал своего желания примкнуть к какой-то из сторон, оказывался объектом вражды для всех. В итоге он больше других страдал при многократных сменах власти в его городе или уезде. Надо было прибавиться к какому-то берегу. Как ни артачился мужик, чьи политические вожеления не простирались дальше желания стащить что-нибудь из господской усадьбы и поучаствовать в разделе господских земель и вырубке леса, как ни тянул он с определением своей “политической принадлежности”, ему приходилось сделать выбор. В большинстве случаев шаг в ту или иную сторону совершался под воздействием случайных обстоятельств. Нередко члены одной и той же семьи воевали друг против друга. Но помимо этого действовал и такой фактор, как общее настроение народа, подавляющее большинство которого составляло крестьянство.

И вот тут-то, на уровне смутных предчувствий и неосознаваемых эмоций, большевики — или “большаки”, как по-своему подправили это самоназвание идущей за Лениным партии русские крестьяне — имели громадное преимущество перед всеми остальными “кадетами” и “эсерами”, не говоря уже о заранее проигравших борьбу за массы “меньшевиках”. Дело в том, что в отличие, например, от “эсеров”, у ленинцев было

“говорящее” название. Если образованный обыватель, прикидывая, за кем ему идти, старался разобраться в партийных программах, выступлениях ораторов, сравнивал, что обещает стране (и, соответственно, ему) та или иная политическая группировка, и, окончательно запутавшись в этом, пытался предугадать реальные цели каждой из партий, то мужику, который и не надеялся “переварить” всю эту мешанину из лозунгов и декларируемых целей, хотя бы просто потому, что большей частью не знал значения “политических” слов, оставалось ориентироваться только на какие-то косвенные признаки, отличающие конкурирующие партии друг от друга. Слово “кадеты” напоминало ему о малолетних барчуках (с ними мужику было явно не по пути), слово “эсеры”, несмотря на относительную популярность данной партии, само по себе ему ничего не говорило. А вот слово “большевики” было гораздо понятнее. Оно происходило от простого слова “большой” и было родственно огромному гнезду общеупотребительных слов с этим корнем. Как правило, слова из этого гнезда имеют положительную эмоциональную окраску. Если “большой”, то, значит, сильный, могучий, способный на многое. Всякий стремится получить всего “побольше”; выражение “больше” чаще всего ассоциируется с изобилием, преимуществом, выигрышем. “Большак” — это столбовая дорога, путь, которым движутся многие. Кроме того, “большак” — старший в семье, наиболее опытный и авторитетный работник, определяющий цели и способы их достижения, а также поддерживающий порядок и лад в крестьянской семье. Значит, если “большевики/большаки” соответствуют своему названию (а ведь не зря же их так называют), то это серьезные, работающие и умеющие руководить люди, знающие, куда они ведут народ. Как ни курьезен такой “этимологический” метод определения политических симпатий, в ситуации полной растерянности и отсутствия ориентиров он мог склонить какую-то часть малограмотного населения к предпочтению “большаков” прочим “кадетам”⁸.

И все же основной эффект названия ленинской партии заключался, на мой взгляд, не в том, что оно склоняло массы к признанию авторитетности большевиков и оправдывало их претензии на руководство страной, а в том, что оно ассоциировалось с их вероятной победой в гражданской войне. Напуганные происходящим массы не столько интересовались тем, на чьей стороне правда и справедливость (кто их разберет; скорее всего, все одним миром мазаны), и даже не тем, чья власть будет легче, сколько тем, на чьей стороне реальная сила. Растерянные и колеблющиеся люди, не претендуя на собственную позицию, судорожно пытались предугадать, кто окажется победителем в этой схватке, чтобы, не дай Бог, не очутиться в стане побежденных, которые, как известно, платят за все. И в этом отношении магия названия могла действовать весьма эффективно. “Большевики” — это те, кого больше, кому удалось привлечь на свою сторону большинство. Следовательно, за ними сила. И тут уже неважно, добрая эта сила или злая, — главное, что мир пошел за ними, а с миром не поспоришь, поэтому надо покориться. Допустим, подобное настроение существовало лишь как тенденция, которую легко переламавали конкретные обстоятельства, но если эта тенденция присутствовала в сознании миллионов, она могла заметно повлиять на соотношение сил в гражданской войне.

После ее окончания всякий служивший в Красной армии мог порадоваться, что у него хватило ума не пойти против большевиков. Дескать, как ни жестока советская власть, меня она теперь не тронет, а что бы со мной было, если бы я вступил в армию Колчака!.. Наверное, это чувство испытывали даже многие из бывших царских офицеров, принудительно мобилизованных в Красную армию, что уж говорить о простых мужиках.

Правда, радоваться всем им пришлось недолго. Было бы жестоко говорить, что они, мол, получили по заслугам, что, поскольку советский режим утвердился при их участии, не им и жаловаться на те страдания, которые он принес. Можно было бы добавить, что

гораздо больше сочувствия вызывают те, кто открыто боролся против большевиков или хотя бы был в пассивной оппозиции к ним. Но все-таки жалко и мужиков-красноармейцев. Можно сказать, что массы трудящихся, никак реально не заинтересованных в победе своих будущих рабовладельцев, были одурачены большевиками, которые, кстати говоря, в большинстве своем тоже оказались среди одураченных. Поддержка большевиков была ошибкой народа (если не предположить, что порядок, который установился бы в случае победы Колчака и Деникина, был бы для него еще страшнее — но это крайне маловероятно). И эту ошибку трудно вменить в вину необразованной массе — гораздо более просвещенные и владеющие несравненно большим объемом информации люди еще сильнее ошибались в оценках происходящих на их глазах событий и даже десятилетия спустя продолжали нести бог знает что по поводу того, кто такие большевики и каким образом им удалось захватить власть в стране. Даже члены ленинской партии, как известно, сами не понимали, в каком процессе они играют “руководящую” роль. Поэтому можно было бы считать, что средний представитель народной массы стал невинной жертвой тех, кому он поверил и чью победу обеспечил, отдав свои силы в их распоряжение, — если бы не тот факт, что одним из важных мотивов, вызвавших массовое “доверие” к большевикам и покорность им, было стремление “примазаться” к победителям независимо от того, что они собой представляют. Массы проявили малодушие, позволили себя запугать, повели себя беспринципно, и за этот грех заплатили такую цену, что она представляется совершенно несоразмерной степени их виновности. Но такая несоразмерность вины и кары — отличительная черта всех мультипликативных, автокаталитических процессов, которые мы здесь обсуждаем. Вполне, казалось бы, простительная слабость, выразившаяся даже не в “любви”, а всего лишь в определенной уступчивости по отношению к тому, чья победа тебя пугает, и в желании заранее наладить с ним контакты, закрыв глаза на его очевидные пороки, обернулась ужаснейшими страданиями не только тех, кто был непосредственно повинен в этом грехе, но и нескольких поколений всех живущих в этой стране и попавших под лавину бедствий, вызванную этими мелкими грешками.

* * *

Тем не менее, как бы ни было правдоподобно (по крайней мере, на мой взгляд) изложенное выше объяснение фактов новейшей истории Германии и СССР психологическими механизмами, основанными на превращении страха в “любовь”, все же надо признать, что оно представляет собой теоретическую конструкцию, опирающуюся на прозрения Оруэлла и на собственные размышления о том, “как это могло быть”⁹. Используемые примеры становятся доказательными лишь для того, кто согласится с нашей интерпретацией прямых исторических свидетельств. Мне представляется в высшей степени вероятным (и даже единственно возможным) объяснение мотивов, заставивших Чуковского оставить в своем дневнике 22 апреля 1936 г. *такую* запись, владевшим им подсознательным страхом, но это всего лишь мое толкование данного факта, который каждый волен истолковывать по-своему. Сам Корней Иванович нам своих мотивов не сообщил и свое поведение не объяснил. И с этим ничего нельзя поделать. Люди, чьи поступки мы пытаемся истолковать, сами не сумели или не пожелали дать нам удовлетворительное непротиворечивое объяснение того, за что и почему они любили Сталина или Гитлера.

С одной стороны, это всеобщее молчание очевидцев о чрезвычайно важном моменте, тесно связанном с глубинным смыслом ими пережитого, хорошо согласуется с излагаемой гипотезой: человек, находившийся в состоянии “двоемыслия”, не может трезво и ясно дать отчет о переживаемых им в этот период чувствах — в этом сама сущность “двоемыслия”. Чтобы разобраться в том, что с ним происходило, он должен, во-первых, выйти из этого состояния, а во-вторых, сохранив в памяти воспоминания о своих

собственных прошлых переживаниях, суметь проанализировать их с нынешней, кардинально отличающейся от прежней точки зрения. То есть надо суметь, сохранив эмоциональную связь с “собой бывшим”, одновременно стать совершенно другим человеком — с другими эмоциями и другой психикой. Вероятно, это совсем не просто, и потому мы не должны удивляться, что подавляющему большинству это не удается, а главное — большинству и не хочется предпринимать этот тягостный, не сулящий приятных ощущений труд по реанимации собственного — слава богу, уже почти забытого — прошлого. Но с другой стороны, эта ситуация лишает нас возможности подтвердить излагаемую гипотезу прямыми показаниями очевидцев.

Когда я обдумывал и писал эту статью, я был уверен, что таких свидетельств не осталось: во множестве прочитанных мною воспоминаний об эпохе “построения социализма в отдельно взятой стране” страх перед Сталиным и возглавлявшейся им машиной террора существовал у одних (противников и жертв режима), а любовь к Сталину, к другим “вождям” и к успехам “нашей замечательной страны” характеризовала других — тех, кому более или менее удавалось жить с этим режимом в ладу. И даже если эти полярные чувства смешивались в душе одного человека, никакого их “перетекания” друг в друга заметить было невозможно — по крайней мере ни один из мемуаристов об этом не упоминал.

К счастью, теперь я могу сказать, что — совершенно случайно и неожиданно для меня — такой “голос из прошлого” обнаружился. В замечательной книге воспоминаний Б. М. Сарнова “Скуки не было” я наткнулся на прямое и недвусмысленное утверждение автора о том, что в основе его юношеского увлечения сталинским стилем мышления, “чеканными сталинскими формулировками”, “замечательными образцами сталинского юмора” лежал страх оказаться жертвой системы, попасть в ту ее часть, где с людьми делают нечто такое, “чего нельзя выдержать”. Чтобы показать, насколько суждения Б. М. Сарнова совпадают по смыслу — и даже по отдельным формулировкам — с излагаемой в этой статье трактовкой сути прошедшей (?) эпохи, я должен привести несколько цитат:

“У меня давно уже не оставалось никаких иллюзий по поводу роли Сталина в жизни моей страны. <...> Но магия его обаяния еще сохраняла надо мной свою власть. Где-то в подкорке, в подсознании, еще продолжало жить, не хотело умирать это давнее рабское умиление: вот ведь, смотрите — дракон, а выглядит как человек. Не лишен даже некоторой приятности. И ведет себя не «по-драконьи», а «по-человечески»!

Все это, как и при жизни «дракона», продолжало действовать, вызывало прилив умиления и даже восторга.

Природа этой магии не таит в себе никаких загадок. Это — *магия власти*”.

И далее, процитировав ту же самую запись из дневника Чуковского, Сарнов пишет:

“Прочитав это, я подумал: «Неужели и у них тоже эта вспышка истерической любви к Сталину была сублимацией страха?» Но быстро отогнал от себя эту мысль: как-то неловко мне было моделировать сознание таких людей по образу и подобию своему”.

И еще пара длинных цитат из этой книги:

“О ЧКГБ, как назвал это ведомство Солженицын, существует огромная литература. <...> Но чем отличается наша гэбуха от всех существовавших когда-либо контрразведок, Тайных приказов и Тайных канцелярий, по-настоящему понял только один из авторов этой гигантской библиотеки: Джордж Оруэлл.

Усовершенствованный. <...> пыточный застенок у Оруэлла называется *Министерством Любви*.

Какая жуткая ирония!

Но в том-то вся штука, что *никакая это не ирония*.

Название этого оруэлловского министерства точно соответствует главной его цели, главной — в сущности, даже единственной — стоящей перед ним задаче.

Цель эта состоит в том, чтобы заставить каждого попавшего туда *полюбить Старшего Брата*.

<...> Не притвориться, не прикинуться любящим, а полюбить по-настоящему, искренно, всей душой. <...>

Где-то там, в глубине сознания трепыхалась стыдная мысль: когда ОНИ придут (а в том, что рано или поздно ОНИ обязательно ко мне придут, я, видимо, не сомневался) и начнется обыск, они увидят эти тома (собраний сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. — *Н. В.*) — с закладками и подчеркиваниями, свидетельствующими, что стоят они тут у меня не для показухи, что я старательно — и с любовью — их читал, перечитывал, конспектировал, — увидев все это своими глазами, ОНИ сразу поймут, что произошла ужасная ошибка, что на самом деле я — *наш*, наш каждой клеточкой своего мозга. Не могут же ОНИ арестовать человека, который так искренне восхищается ленинскими эпитетами, так искренне любит железные, чеканные сталинские формулировки”.

И в конце еще одна цитата, от которой я просто не могу отказаться — она свидетельствует, что Б. М. Сарнову по праву должен принадлежать приоритет в описании превращенных форм страха:

“Да, конечно, в сердцевине этой моей любви тоже лежал страх. Но это был страх не прикидывающийся, не притворяющийся любовью, а превращенный, преобразованный, *претворенный* в любовь”¹⁰.

Чтобы полностью оценить убедительность этих суждений и прочувствовать психологические нюансы описываемых мыслей и ощущений, надо, конечно, обратиться к самой книге, в которой этой теме посвящена специальная глава — “Колесница Джаггернаута”¹¹. Но в данном контексте главную роль играет сам факт близкого совпадения результатов, вытекающих из представления о превращенных формах страха, с теми выводами, к которым пришел человек, сумевший искренне и бесстрашно проанализировать свои прежние чувства и настроения. Ведь его выводы, хотя и представляют собой определенную реконструкцию прошлого, в отличие от моих, основаны не на теоретических постулатах, а на личном опыте, на реальных переживаниях того времени. И в этом их исключительная ценность для любой теории, которая затрагивает тему “государства нового типа”¹².

И еще одно соображение, возникающее после чтения книги Б. М. Сарнова, касается состояния нашей сегодняшней “исторической науки”, “либеральной мысли”, “демократической прессы” и прочих интеллигентских “мифов XXI века”. Если бы за этими широко употребительными терминами стояло нечто реальное, появление книги Сарнова должно было бы вызвать шквал откликов. Проблема загадочной народной любви к тиранам, над которой в течение десятилетий билась мировая и отечественная мысль и обсуждение которой породило гору научной и публицистической литературы, наконец-то

разрешена — или, по крайней мере, появилась новая в высшей степени убедительная гипотеза, претендующая на ее разрешение. Но, к сожалению, в действительности никаких откликов не было. За шесть прошедших лет (а впервые “Колесница Джаггернаута” была, как я теперь узнал, опубликована в 2000 г.) наша “интеллектуальная элита” не удосужилась обратить внимания на то, что поведал ей Б. М. Сарнов. И такую реакцию нельзя объяснить слабостью авторского голоса: автор — отнюдь не из начинающих, тщетно пытающихся обратить на себя внимание на страницах сетевого журнальчика; он один из тех немногих действительно популярных и авторитетных столичных литераторов, чьи книги постоянно издаются (уже в течение десятков лет), широко читаются, рецензируются, публикуются в отрывках на страницах популярных русскоязычных изданий во всем мире — и, казалось бы, к чьему же голосу прислушиваться, если не к его и таких, как он. Так что дело не в том, что общество не услышало обращенную к нему речь, а в том, что оно, и в первую очередь его образованная часть, по-видимому, не желает знать никакой правды о себе и, столкнувшись с ней, не знает, что с ней делать. Вывод, безусловно, печальный, приводящий к тягостным раздумьям о “судьбе России” и т. п.

Впрочем, можно попытаться интерпретировать эту ситуацию оптимистически. Если откровенные признания Б. М. Сарнова о пережитом им в юности “страхе-любви” к Большому Брату остались, так сказать, не замеченными “исторической наукой” (она ни в каких гипотезах и не нуждается — ее вполне удовлетворяет пережевывание “Краткого курса”, трактуемого ею в зависимости от текущей конъюнктуры то с плюсом, то с минусом), есть надежда, что его свидетельство не уникально и что обширная мемуарная литература содержит и другие основанные на личном опыте описания интересующего нас явления.

Радость и прочие чувства

Хотя “механика” превращения страха в нечто “иное” и вытекающие из этого следствия уже изложены мною в общих чертах на примерах любви и ненависти, чувств внешне полярных, но имеющих в данном случае один и тот же корень, все же для полноты картины разберем “превращение” страха в радость — чувство, происхождение которого трудно вывести из динамики “любви/ненависти” и которое, на первый взгляд, несовместимо с ощущением угрозы, исходящей от “страшного”.

Возьмем такую ситуацию: 1938 год, один из промышленных центров на Урале, общее собрание работников “завода сельхозмашин”, на котором производят саперные лопаты, пулеметные тележки и колючую проволоку, в повестке дня доклад руководящего товарища из горкома партии о международном положении и о революционной бдительности. У всех, кто в 1967-м или 1997-м читал воспоминания уцелевших и исторические описания подобных мероприятий, невольно возникает вопрос, почему политические обвинения (как правило, равносильные смертному приговору), звучавшие на таких собраниях, сопровождалась бурным одобрением сидящих в зале. Понятно, когда такую картинку всенародного ликования по поводу разоблачения очередной “троцкистско-белогвардейской банды” мы видим в кинофильме тех лет, мы понимаем, кто был заказчиком этой сцены и с какой целью имитировался массовый энтузиазм. Но почему же реальные рабочие, инженеры, бухгалтеры и прочие “трудящиеся” встречали сообщения о выявленных в их среде “вредителях” не хмурым молчанием и бессильной злобой в адрес “родной коммунистической партии”, не угрюмой настороженностью или растерянным недоумением (как, неужели и “эти” оказались врагами?! я ведь с ними полжизни проработал бок о бок!), а возгласами “ура!”, “так им, гадам!” и бурными, переходящими в овацию аплодисментами? Что за странные люди были эти “трудящиеся”

— их планомерно душили, как цыплят, одного за другим, а они еще и бурно радовались этим акциям. Но ведь так и было. И опять мемуаристы либо избегают описания и обсуждения этого феномена в своих воспоминаниях, либо всячески затушевывают такие сцены, либо дают им какие-то путаные и туманные объяснения. И понятно почему. Мало того, что противно сознаваться в поддержке “народом” (пусть даже “обманутым народом”) палачей и преступников, но приходится ведь признавать, что “народ”, в состав которого мы все входим, — это лишь безмозглое стадо, готовое поверить кому угодно и во что угодно. Посмотришь в зеркало, оглянешься вокруг: где же это “стадо”? Ничего подобного не видно; неужели такими были наши отцы и деды?! Насколько мы их помним, они были вполне вменяемые, разумные люди. Как же тогда это могло быть?

Только введение в подтекст этой картинки всеохватывающего страха делает ее связанной и психологически понятной. В 1938 г. уже всем было ясно, что курс взят на массовое уничтожение “врагов советской власти”, — воспротивиться этому невозможно, остается лишь надеяться, что тебя это не коснется. Особенно страшно потому, что никто не может считать себя в безопасности. Непонятно, с кем идет такая беспощадная борьба. Газеты кричат о “вредительстве” и “шпионаже”, но это только эвфемизм. Власть не скрывает, что у нее есть какие-то свои скрытые мотивы и критерии отбора “врагов” — потому “вредителем” и “шпионом” будет объявлен всякий, на кого падет роковой жребий. И троцкистов брали, и монархистов, и бухаринцев, и поповских детей, и старых большевиков, и бывших меньшевиков, и имеющих родственников за границей, и эсперантистов, и краеведов, и буржуазных националистов, и бывших городских, и бывших красных партизан, и будущих “красных профессоров”, и махновцев, и сменовеховцев — а большинство оказавшихся “вредителями” и вовсе ничем не примечательные люди, можно только гадать, по какому признаку они попали в эту разношерстную компанию. Пропаганда не скрывает, что власть может назвать своим врагом всякого, — все время подчеркивается, что можно быть “объективным классовым врагом”, даже не имея никаких враждебных устремлений. Если вдуматься, можно прийти к выводу, что власть обезумела и подозревает врага в каждом, кто попадется ей на глаза. Большинство, конечно, старается не задумываться над такими вопросами, но в обществе разлита атмосфера тревоги, тоскливого ожидания и неуверенности в завтрашнем дне, хотя каждый старается скрыть эти переживания и сам себе в них не признается. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что такое впечатление полной непредсказуемости выбора жертв создавалось сознательно и целенаправленно — само выявление и изъятие “врагов” планировалось сверху в количественных показателях: столько-то “голов” “первой категории” и столько-то “второй”, а на кого именно упадет глаз исполнителя, “верхи” не волновало. Страх должны чувствовать все — от “железного сталинского наркома”, руководившего всей “операцией”, до безвестного работяги, прозябающего в своей дыре на окраине страны, — это важнейшая деталь большевистской системы. Целью была не всеобщая покорность и безропотное повиновение, а истерический энтузиазм масс и непрекращающаяся “классовая” борьба всех со всеми — только в таких условиях “верхи” имели шанс на выживание.

Люди, присутствующие на собрании, знают, что “доклад о международном положении” закончится выявлением очередной группы “врагов народа”, “расхитителей”, “саботажников” и “моральных разложенцев”, с которыми церемониться не будут, — в самом мягком варианте попавшего в такой список бедолагу вышибут с работы или дадут срок по “хозяйственной” статье, а большинство названных просто исчезнет. И в глубине души каждого шевелится страх: не мой ли черед пришел? не окажутся ли среди врагов моя жена или сын, или брат? не загребут ли моих ближайших друзей, и тогда я окажусь на самом острие опасности? Нет, этого не может быть! Ведь мы все довольны Советской властью, мы всегда были “за”. Даже если я когда и слушал сомнительные анекдоты, это же пустяки. Товарищи разберутся — они знают, кого берут; партия строго следит за тем,

чтобы в НКВД работали только кристально честные и толковые люди. Не могут наши мудрые руководители так ошибиться. Ведь я свой в доску, я их всех люблю и уважаю: и докладчика, и директора завода, и весь президиум, и даже комсорга (хоть он, конечно, прохиндей и карьерист, но все же наш рабочий парень), мы все заодно. Кто может сомневаться в том, что я не враг нашей родной рабочей власти? Я сам с лютой ненавистью отношусь к империалистам, фашистам и тем их пособникам внутри страны, кто недоволен нашими успехами и готов вонзить нам нож в спину. Зря не забирают, значит, было за что... Так мечутся мысли каждого, кто ожидает произнесения приговора: от страха к надежде, от любви к ненависти — и, когда выясняется наконец, что врагами оказались Иванов, Кацман, Петренко и этот гадина комсорг (не зря я его терпеть не мог!), мое сердце и сердца большинства присутствовавших охватывает огромная радость. Ура!!! Все правильно! Молодцы чекисты, разобрались по справедливости. Мы — хорошие советские люди, и нас не тронули, а этим собакам — собачья смерть. Слава нашим чекистам, спасибо родной коммунистической партии и ее мудрому вождю! Я им по гроб жизни обязан и искренне благодарен. Страх затих, и его место заняло радостное облегчение, мы все чувствуем себя удачливыми и счастливыми. Несмотря ни на что, “и жизнь хороша, и жить хорошо”, как очень метко выразил наши ощущения тот, кто был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.

Это только один из многочисленных сценариев превращения страха в радость. Другой сценарий описан в статье Н. Коржавина “О том, как веселились ребята в 1934 году”. Эта совершенно замечательная статья принадлежит к числу тех, крайне редких еще исследований, в которых закладывается фундамент истинной “Истории СССР” в XX веке. Мы не знаем своей собственной истории не столько потому, что нам остаются неизвестными какие-то — в том числе намеренно скрываемые — факты, сколько потому, что, даже рассматривая эти “факты” в упор (некоторые из нас просто были их очевидцами), не понимаем смысла происходившего и, следовательно, неверно их истолковываем. Беда даже не в том, что наша “история” многократно переименовывалась и переписывалась в “Министерстве правды”, а в том, что, стараясь понять прошедшую эпоху, мы подставляем на место действующих лиц самих себя — с нашими сегодняшними, взятыми напрокат у телевизора мыслями и чувствами — и удивляемся бессвязности и алогичности “исторической реальности”, получающейся в результате. На этом фоне статья Коржавина представляет собой щелку, пусть очень узкую и ограниченную отдельным примером, но тем не менее позволяющую заглянуть в мысли и чувства людей того времени, хотя бы в первом приближении к истине, понять, над чем они плакали и чему радовались в 1934-м.

Речь в статье идет о фильме “Веселые ребята”, вышедшем на экран в конце этого года. “Фильм имел колоссальный успех, — пишет Коржавин, — и потом стал классикой советского кино”. Более того, фильм широко пропагандировался во все последующие годы существования советской власти, и все новые поколения зрителей хохотали над столь редкими в нашем кинематографе, хотя и непритязательными “гэгами”. Минимум характерной даже для советских комедий “идеологической” назидательности и явный крен в сторону развлекательности, легкого и веселого времяпрепровождения. Такие фильмы всегда использовались пропагандой как подтверждение того, что и тридцатые годы не были столь жуткими, как пытаются внушить нам “буржуазные писаки”, клеветующие на наш родной социалистический строй. Дескать, были трудности, ошибки, были “перегибы”, неоправданные репрессии, но это не отменяло естественного и поступательного течения жизни: люди ходили на свидания, пели, смеялись, радовались новым кинолентам. Несмотря на все тяготы и лишения, люди не утратили своей человеческой сущности — основное течение жизни было нормальным. И исключительный успех “Веселых ребят” — живое тому свидетельство. История — не очернительская, не исходящая из заранее принятой идеологической установки, а

“настоящая история” — не может игнорировать такие факты. Как бы нам ни казалось это странным сегодня, но именно таким — радостным, оптимистичным и в сущности своей здоровым — было умонастроение и самоощущение большинства советских людей в эти представляющиеся столь мрачными и безысходными годы...

А вот, что пишет об этом “факте” Коржавин (я процитирую здесь несколько отрывков из его статьи, потому что лучше автора об этом не скажешь):

“...не в социальных мотивах социальная роль этого фильма. В чем она, сами авторы фильма до конца еще знать, конечно, не могли, но они знали, чего от них ждут «заказчики». А ждали от них (и этого не скрывали) не классовости, а развлекательности: смеха, музыки и трогательных чувств. <...> Конечно, можно было задуматься, почему вдруг именно теперь, в 1933—1934-х годах, случилось это возвращение к здравому смыслу. Кто-то тогда, и даже загодя, очень заботился о легком смехе, — Сталин еще в 1929 году в письме к Горькому писал о нужности комедии... А с тех пор потребность в ней стала еще актуальней. <...>

Конечно, подлинной роли этого фильма его создатели тогда до конца понимать не могли. Поскольку до конца, как и многие другие, не понимали, что только что произошло у них на глазах... Тем более теперь это оборачивалось «достижениями». Трупы с улиц южных городов уже убрали, и они не мозолили глаза уцелевшим, позволяли себя позабыть... В магазинах стали продавать кой-какую еду и хлеб. Конечно, это было пустяками по сравнению с 1928 годом, а тем более с 1913-м, но ведь не по сравнению с годом 1933-м. Это впечатляло. Короче, миновала угроза голодной смерти, а точкой отсчета теперь была она... Еще не было объявлено, что «жить стало лучше, жить стало веселей!», но к тому вели. Оно ведь и впрямь стало «веселей» — по сравнению с тем, что натворили сами воскликнувшие. А поскольку страна оставалась в их руках, могут опять натворить. Но что сравнится с возвращенной возможностью продолжать жизнь? И со страхом ее опять утратить, — ведь все видели, как она дешево стоит. Такие добродетели, как память и сознание, были тогда чертами тяжелыми, занудными и нереспектабельными. Раз уж выжили — не надо портить людям настроение. Ведь жить можно.

<...> Словом «диктатура» реальность сталинщины определить нельзя. Диктатуры случаются, но все они — другое. Надвигалось *нечто такое, чего без немалых специальных усилий ни понять, ни представить себе невозможно. Ни потомкам, ни даже современникам* (курсив мой. — Н. В.). Ибо тот, кто ее формировал, принимал специальные меры, чтобы его не понимали. Не множество его секретных операций (это само собой, но это было и раньше), а саму суть его системы.

<...> сам по себе этот фильм почти невинен. Не какая-нибудь пырьевская «Богатая невеста», максимум через пять лет после «голодомора» повествующая о богатой и счастливой жизни украинской деревни. Тут ведь и лжи особой нет — просто шутка, нормальный шуточный фильм для нормально живущих трудовых людей. Вот в этом и был порок фильма — в адресате. Не было такого адресата, но ему хотелось быть. И, обращаясь к нему, фильм его формировал. И обманывал.

Зрители хохотали, и смех этот был гораздо более значителен, чем им самим казалось. Еще недавно грузовики ездили по городу, подбирали и укладывали штабелями трупы (как дрова, только с брезентом — слой трупов, потом брезент и опять). Над трупами жужжали большие, какие-то зеленые мухи. Жизни вроде не было никакой. А теперь оказалось — есть! Правда, вот умершие... Но они уже умерли, их нет, а нам надо жить по-человечески... Вот и живем — смеемся, как люди... Я считаю, что до сих пор мы не оправились от того смеха.

А в ответ я слышу:

— Да вы что? Людям забыться хотелось, и фильм им в этом, спасибо ему, помогал...

Да, спасибо. Помогал... Забывались. И только, наверно, легкий, неосознанный страх оставлял в каждой душе: вдруг что-то такое и со мной случится, ведь и меня так же забросят в кузов и забудут, А потом предадутся такому же культурному отдыху со смехом. И строительству счастья. Страшно попасть в категорию тех, кого не жалко... Что ж, Сталину и это было на пользу, — большой был спец по массовой психологии и хорошо, говорят, понимал место искусства в жизни”¹³.

К намеренно обширной цитате трудно что-нибудь добавить: подоплека возникновения тех давнишних радостных чувств представлена здесь предельно ясно и открытым текстом. Единственное, что еще остается дополнительно обсудить, это второй, минорный компонент психологической трансформации всенародного горя во всенародную радость. Автор статьи о нем не распространяется, он только указывает на него своей фразой “Страшно попасть в категорию тех, кого не жалко...”, но его значение несомненно.

Первая причина для радости проста и очевидна — мы живы, хотя и были на волосок от гибели. Власть перестала морить нас голодом. Само появление фильма “Веселые ребята” — знак, данный нам свыше, что там, “наверху” опомнились и приняли решение не доводить истребление народа до конца. Смерть, стоявшая непосредственно перед тобой, твоими близкими, откладывается на неопределенный срок. Мы будем жить. И это известие — вполне достаточный повод для бурной радости. Каждый просмотр нехитрого, скроенного по голливудским образцам фильма нес его зрителям весть колоссальной важности — для них фильм стал истинным “евангелием”. Они сами могли этого не осознавать и считать свое посещение кинотеатра просто “культурным развлечением”, но организм не обманешь: при первых звуках песни “Легко на сердце...” зрительскую душу охватывали восторг и ликование. Недаром Утесов и Орлова в одночасье стали национальными героями и до сих пор числятся среди любимцев публики — это проявление “народной памяти”. Никто уже не понимает, за что их так любили, но остатки этой любви дожили до наших дней — и дело здесь не в эстетических вкусах прошедшей эпохи, а в том, что они, по замыслу *главного режиссера* (речь отнюдь не о Г. Александрове), сыграли роль ангелов, принесших народу благовест. Мы видим сегодня на экране совсем не то, что первые зрители этого фильма.

Но у той же радости есть и другая — менее заметная — причина. Чтобы понять ее, нужно во фразе “Мы можем петь и смеяться, как дети...” сделать акцент на слове “мы”. “Мы” — это те, кто поет и смеется, “мы” не горюем и не плачем, пусть плачут “другие” — неудачники, из категории “тех, кого не жалко”. “Мы” — те, кто выбрал жизнь, кто оптимистично смотрит в будущее, “нам” обещано, что оно будет за нами. Есть “другие” — им ничего не обещано, они, скорее всего, обречены. Но это нас не касается. Оставим их хоронить своих мертвецов. У нас иная судьба. Черта между “нами” и “другими” проведена резко и отчетливо: по одну сторону — те, кто радуется, по другую — те, кто горюет. И приходится делать жесткий выбор: либо радость и жизнь, либо страдание и смерть¹⁴.

Такая постановка вопроса — безусловно, не осознаваемая субъектом и никак не артикулируемая (разве что в каких-нибудь “оговорках по Фрейдю”) — делает “радость” не просто желательной и приятной, но, можно сказать, принудительной и неизбежной, так как она оказывается совершенно необходимой для жизни в условиях советской действительности, что приводит к дополнительному взрыву массовой буйной радости (ведь хмурое лицо едва ли не прямо указывает на явного врага, на кого-то из “тех”,

оставшихся за чертой) и долго продолжает питать свойственный нашему народу “оптимизм” и презрение ко всякого рода маловеерам, хлюпикам и нытикам. “Их” путь — в могилу, и “нам” с ними не по пути.

Рассмотрев пример “радости”, мы могли бы перейти и к другим свойственным человеку состояниям. У Фазиля Искандера есть такая формула: “Удаль — это паника, бегущая вперед”¹⁵. Можно было бы развить эту мысль и показать, как страх превращается в “удаль”. Или подобрать исторические и литературные примеры превращения страха в “ярость благородную”, или в “нежность”, или еще во что-нибудь. Но в рамках данной статьи это вряд ли целесообразно — она и так получилась излишне пространной. Достаточно того, что, как мне кажется, показана сама возможность таких “превращений” и, следовательно, анализируя массовые настроения и чувства, мы должны считаться с тем, что их динамика и внешние проявления будут отражать не их собственную природу, а природу подлинного исходного аффекта — страха.

Заключение

Завершая изложение данной темы, которая имеет множество не затронутых мною ответвлений и разнообразных продолжений и приложений, я хочу обратить внимание читателя на некоторые логически возникающие (хотя также подлежащие обсуждению) выводы из предложенной гипотезы.

Вывод первый. Если мы имеем дело с каким-то беспокоящим нас массовым настроением (например, с антисемитизмом) и предполагаем, что психологическим мотивом, лежащим в его основе, является страх, то бессмысленно вести борьбу, объясняя всем и каждому, насколько такое настроение опасно и как плохо нам всем придется, когда подверженных ему людей станет еще больше. Такая “контрпропаганда”, подчеркивающая серьезность угрозы, приводит к прямо противоположным результатам: увеличивает количество испугавшихся и, соответственно, число “активистов”, а также подогревает их экстремизм, поскольку каждый неопытный стремится показать себя не меньшим зверем и отморожком, чем те, о “подвигах” которых с ужасом сообщают средства массовой информации. Поскольку реакцию “людей доброй воли” на проявления человеконенавистнической идеологии нетрудно предугадать, те специалисты, которые планируют соответствующую “кампанию”, заранее отводят роль главного агитатора и “загонщика” либеральной прессе и всем тем прекраснородным, но, к сожалению, не понимающим смысла происходящего людям, которые “не могут молчать” и начинают “бить в набат”, призывая общественность к бескомпромиссной борьбе. Подобное “разделение труда” очень удобно для “специалистов”: основную работу по нагнетанию всеобщего страха выполняют не наемные агитаторы, а те, кто искренне озабочен судьбой общества и к тому же способен ярко и талантливо описать надвигающуюся угрозу. Появляется возможность существенно сэкономить отпущенные “казной” средства и одновременно поставить на свою службу самую бойкую часть пишущей братии.

Понимая описанную выше механику раскручивания спирали страха, мы можем сказать, что продуктивным способом борьбы с подобного рода движениями должны быть пропагандистские акции прямо противоположного толка. Стремясь противостоять разгулу преступности, надо не столько расписывать зверства хулиганов, грабителей, маньяков и прочих пугающих обывателя субъектов, подчеркивая их безнаказанность и неэффективность работы милиции, сколько обращать внимание населения на те примеры, которые свидетельствуют о способности простых честных людей найти управу на терроризирующих их бандитов, и чаще публиковать не информацию о грабежах и

разбоях, а “сообщения из зала суда”, которые восстанавливают в людях веру в справедливость и в свои силы. А иначе получается, что “борцы с криминальным беспределом” сами внушают людям чувство полной незащитности перед миром преступников, который захватил все сферы нашей жизни — от скамейки во дворе до кремлевских палат, пронизал все властные и силовые структуры и не оставил нам никакого другого выхода, кроме как трястись от страха, ждать худшего или, по меньшей мере, слиться с толпой (в которой все ведут себя примерно так же).

Когда в начале очередного призыва в ряды российской армии читаешь очерки о “дедовщине” и атмосфере всеобщего “беспредела”, царящей в воинских частях, возникает мысль, что эти статьи прямо заказываются лицами, заинтересованными в том, чтобы росло число запуганных родителей призывников и, соответственно, размеры взяток работникам военкоматов и другим лицам, от чьих решений зависит судьба призывника. Подростков, выбирающих свой жизненный путь, такая “пропаганда страха”, много лет подряд взхлеб рассказывающая о “разборках”, “стрелках”, “зачистках”, “оборотнях в погонах” и т. д., подталкивает к выводу, что единственный способ защитить себя — это самому пополнить ряды преступников (в форме или без нее).

Кстати, исходя из такого понимания, надежды на подрастающую молодежь — вот, дескать, приходит “первое непоротое поколение” и с ним-то в обществе воцарится новый свободный дух; нужно “сорок лет блуждания в пустыне”, чтобы общество избавилось от своих рабских привычек и перестало бояться, — совершенно иллюзорны. На самом деле дети, родившиеся в 1980-х и пошедшие в школу уже в “свободной России”, запуганы гораздо больше, чем их отцы и матери, родившиеся в 1960-х, поскольку выросли в атмосфере неуверенности и страха, пропитывающей всю нашу “постперестроечную” жизнь, тогда как их родители были воспитаны в советскую, но уже в относительно вегетарианскую, по отечественным меркам, эпоху.

Народ — тот самый народ, который как бы ничего не понимает и послушно шарахается то туда, то сюда — чувствует опасность этой эскалации запугивания, что выражается в массовых негативных высказываниях по поводу нагнетания “чернухи” и “очернительства” в средствах массовой информации. Как ни наивны и логически ни беспомощны такие высказывания (их легко отбросить как позицию человека, прячущего голову под подушку, чтобы не видеть стоящих перед ним проблем), все же в них, несомненно, есть рациональное зерно: чтобы разорвать порочный круг производства “страшного” из вызываемого им страха, надо ориентироваться не столько и не только на актуальное — действительно страшное — положение, сколько на тот желаемый результат, к которому мы придем, если перестанем так бояться.

Второй вывод, в основном обращенный к исследователям современного общества и историкам, изучающим роль массовых движений и настроений масс в исторических судьбах народов и государств, заключается в признании первостепенного значения страха как массовой эмоции и различных осознанных и неосознанных “технологий запугивания” в жизни и структуре общества и его социальных институтов.

Сегодня все сферы нашей жизни и деятельности пронизаны страхом, как в его чистом исходном виде, так и в виде его превращенных форм. Страх, разумеется, играл роль важного регулятора общественной жизни с самых ранних этапов становления человечества. Но, как это ни парадоксально, сейчас, когда многие реальные опасности, угрожавшие человеку на протяжении всей его истории, либо практически исчезли, либо существенно уменьшились, общая сумма страхов, терзающих общество, не только не идет на убыль, но и, кажется, начинает играть доминирующую роль в наших повседневных реакциях: мы любим со страху, ненавидим со страху, занимаемся спортом со страху, со

страху совершаем преступления, выбираем политических лидеров от страха, поем и пляшем, дрожа от страха, выращиваем кабачки, чтобы заглушить страх, для того же читаем Донцову, соблюдаем посты, слушаем радио “Русский шансон” и т. п., и т. п. Как ни странно, жизнь жителя современного Нью-Йорка (или Москвы — это не принципиально) больше определяется страхом, чем жизнь не только ньюйоркца тридцатых годов (когда, что ни говори, потеря работы грозила почти что голодной смертью), но и жителя какой-нибудь непальской деревушки, где люди голодают, страдают от эпидемий, засух, полного безденежья и прочих бед, мрут от всего этого, по нашим понятиям, “как мухи” и все же остаются способными сохранять ясность разума и адекватность чувств — чего о ньюйоркце, москвиче или новосибирце никак не скажешь.

Страх сегодня стал стержнем, на котором держится вся жизнь современного цивилизованного общества. Во-первых, страх занял те многочисленные сферы жизни, в которых ранее регуляторами выступали насущные материальные потребности: необходимость обеспечить себя и семью питанием, одеждой и теплым жилищем. Сейчас достижение уровня, на котором обеспечивается удовлетворение простейших физиологических нужд, происходит как бы само собой и гарантируется обществом, поэтому, чтобы люди продолжали трудиться, служить в армии, соблюдать общественную субординацию, участвовать в социальной конкуренции, необходимы какие-то дополнительные мотивы поведения, и главным из них становятся различные формы страха. Во-вторых, сама форма жизни в современном обществе делает каждого абсолютно зависимым от государственных структур и общественных институтов, ни одной своей проблемы человек не может решить самостоятельно, не обращаясь к многочисленным и сложным многоуровневым организациям, на функционирование которых он не может повлиять: “если в кране нет воды”, он не может принести ее ведром из реки или выкопать во дворе колодец — он будет страдать от жажды до тех пор, пока кто-то, а точнее, множество каких-то неведомых ему людей, не сделают нечто, опять же ему неведомое, и не подадут ему в дом воду (тут уж поневоле у него зарождается мысль, что он находится в полной власти у каких-то всемогущих и решающих его судьбу “жидов”). У сегодняшнего человека есть многое, о чем не могли и мечтать его предки, но в отличие от них, контролировавших большую часть имеющихся у них ресурсов, он все блага жизни получает от людей, которых он знать не знает и которые вовсе не испытывают личной заинтересованности в его благополучии. В “норме” обыватель уютно качается в паутине общественных взаимосвязей под неусыпным контролем государства, как в гамаке; все приходит само собой — достаточно протянуть руку, не надо ни о чем беспокоиться, кроме того крохотного участка, на котором ты получаешь свою зарплату, — все остальное сделают другие. Но при любом сбое в функционировании этой системы общественного благоустройства человек оказывается совершенно беспомощным, неспособным наладить что-либо своими руками; он чувствует себя как инвалид, который умрет, если его не накормят с ложки. Любая авария, массовая забастовка, любое общественное потрясение, приводящее к нарушениям деятельности управленческих, финансовых, производственных или транспортных структур, демонстрируют обывателю (каким бы социальным статусом он ни обладал), что он не стоит на собственных ногах, а подвешен на головокружительной высоте в сети условных общественных связей. Он одинок в толпе таких же, как он сам, беспомощных одиночек — те, кто регулирует деятельность систем жизнеобеспечения, обладают огромной властью над жизнью и смертью каждого из рядовых потребителей. Естественно, такое положение современного человека делает его легко подверженным различного рода тревожным состояниям, граничащим с паникой.

Современные управленческие структуры научились широко использовать страхи для регуляции потребных им телодвижений общества. Уроки Ленина, Сталина, Гитлера, Мао Цзэ-дуна, Пол Пота и прочих “священных монстров” XX века не пропали даром, сегодня

их “технологиями” пользуются на всех широтах и при всех вариантах общественного строя — и в Северной Корее, и в Южной Каролине.

Политики используют страх, чтобы добиться желаемого результата на выборах, генералы, добиваясь финансирования, запугивают население внешней угрозой и происками внутренних врагов, для чего нацеливают ракеты на соседние страны и выделяют какой-то процент своих доходов на спонсорскую помощь террористическим группировкам, врачи с утра до вечера долдонят о здоровом образе жизни и профилактике, то есть запугивают нас будущими болезнями, производители шампуней пугают нас призраком перхоти, а пивовары успешно внушают мысль, что человек, не пьющий “Клинского”, вряд ли сможет заинтересовать сколько-нибудь симпатичную девушку и что такой “лузер” обречен зачахнуть в одиночестве, покинутый всеми друзьями. Взгляните на торговую и политическую рекламу, эту визитную карточку современной цивилизации — почти вся она прямо или косвенно строится на запугивании своего потенциального адресата. Страх как универсальный регулятор массовых реакций далеко отеснил на задний план своего предшественника — деньги. Сами деньги нужны сегодня в основном для того, чтобы угрожать бедным их отсутствием, а богатым — невозможностью их сберечь. Еще раз повторю: мы живем в “цивилизации страха” и должны учитывать его разнообразные формы, в том числе и превращенные, при всякой попытке исследовать и понять любые массовые феномены в окружающей нас жизни.

Третий вывод имеет более ограниченный характер и вытекает из предыдущего. В науке об обществе уже более ста лет существует направление, которое чаще всего обозначается как “психология толп”. Основы этого направления, обычно рассматриваемого как раздел социологии или социальной психологии, были заложены в конце XIX — начале XX веков в работах Ле Бона, Сигеле, Тарда и других, менее известных исследователей. Феномен, привлекший их внимание и послуживший исходным пунктом для их размышлений, действительно чрезвычайно ярок, парадоксален, поражает воображение наблюдателя и настоятельно требует какого-то разумного объяснения. Речь идет о том, что любое случайное скопление людей — “толпа”, — действуя как целое, обнаруживает свойства, не присущие в обычных обстоятельствах никому (или почти никому) из тех индивидуумов, из которых она состоит. Мысли и чувства людей, попавших в толпу, унифицируются; всех охватывает единый дух, имеющий мало общего с индивидуальными характерами тех, кто захвачен порывами, овладевающими толпой и превращающими ее в целостный сверхорганизм. “Душа толпы” вовсе не представляет собой среднего арифметического из привычек, склонностей и моральных принципов тех индивидов, которые ее образовали, — напротив, именно толпа навязывает людям те представления и мотивы поведения, которые генерируются ею как целым и которые были совершенно чужды индивидуумам до того, как они в нее влились.

Бывает, что, собравшись вместе, самые обыкновенные обыватели — боязливые, законопослушные, терпеливо тянущие свою лямку и не помышляющие ни о каких эксцессах — преображаются на глазах, звереют и превращаются в отчаянных, дерзких, не устрасаемых никакими последствиями и забывающих обо всех моральных запретах варваров. В них просыпаются эмоции и страсти, о существовании которых они и не подозревали, сидя у себя дома. В толпе люди оказываются способными на экстраординарные поступки: от проявлений свирепой кровожадности и жестокости до массовой жертвенности и героизма. Потом, покинув толпу, люди вновь обретают свой привычный облик, и их поведение возвращается в обычное русло — они сами не понимают, что это такое случилось с ними накануне и как они могли испытывать пережитые ими чувства. Толпа до крайности легковерна, мотивы ее действий иррациональны и темны, а реакции непредсказуемы для стороннего наблюдателя, она импульсивна, склонна к взрывам полярных гиперболизированных эмоций, ее настроения

и порывы крайне неустойчивы и легко переходят в свою противоположность — в целом она производит впечатление сборища буйных сумасшедших, ослепленных маниакальными видениями и не считающихся с реальностью. В то же время мы знаем, что эти беснующиеся на наших глазах человекообразные существа мало чем отличаются от всех прочих нормальных людей, включая и нас с вами.

Специалисты по психологии толп не без оснований утверждают, что проявления массовых психозов, иногда охватывающих миллионы и десятки миллионов людей, стали характерной чертой XX века и что сила создателей тоталитарных режимов в немалой степени заключалась в том, что они умели целенаправленно приводить массы в такого рода состояния, используя в своих целях эмоции, разбуженные в глубинах подсознания индивидов, и чрезвычайную податливость больших скоплений людей к внушению. При этом указывается, что и Муссолини, и Сталин, и Гитлер были знакомы с книгами Г. Ле Бона и, вероятно, даже специально их изучали.

Если все это верно, то интересная научная задача, сформулированная кабинетными учеными, приобретает исключительную практическую значимость — от возможности ее разрешения зависит, не побоимся этого слова, судьба современного человечества. Век “восстания масс” настоятельно требует создания адекватной теории, объясняющей загадочное и устрашающее поведение этих самых “масс”, частью которых — вновь повторю — являемся и мы сами. Но вот как раз адекватной теории наука, называемая “психологией толп” (она же — “психология масс”), не имеет. Те попытки создать некую объяснительную схему, которые предпринимались до сих пор, производят довольно жалкое впечатление, поскольку в их основе лежит стремление разъяснить непонятные парадоксальные феномены их сведением к еще более темным и недоступным прямому наблюдению факторам. Более чем столетняя история развития этого научного направления не привела к появлению каких-то новых плодотворных идей и теоретических конструкций, хотя XX век предоставил в распоряжение “толпсихологов” такое количество разнообразных фактов, о котором Ле Бон, оперировавший в основном хрониками французской революции и летописными свидетельствами времен крестовых походов, не мог и мечтать. “Объяснение” зачарованности масс гипнотическим влиянием лидера — это не более чем тавтология и замена одного парадокса другим: как это так получается, что Гитлер, в ситуации “один на один” не способный загипнотизировать даже соседскую горничную, на митинге оказывается способным первой же своей фразой привести множество людей в экстаз и овладеть чувствами не только сотен горничных, но и седовласых профессоров или бывалых фронтовиков из какого-нибудь “Стального шлема”?

Мне кажется, что привлечение в этот весьма запутанный раздел социальной психологии представления о подсознательном страхе, который ощущает каждый “человеческий атом” перед грозной и непредсказуемой силой и который легко “превращается” в самые разнообразные эмоции, может способствовать выходу из теоретического тупика.

Аналогии между теми картинами из жизни масс, которые рассматривает “психология толп”, и теми феноменами, которые обсуждались в данной статье, столь очевидны, что было бы излишним подробно демонстрировать их читателю.

¹ “Лицо его — предмет смущения для приверженцев и злорадства для противников. Никакими прикрасами не скрыть, что это — ничего не говорящее лицо, без всякого выражения” (Гейден К. Путь НСДАП. М., 2004. С. 96).

² Выразительная цитата из сочинения Гейдена: “Он высказывает мысли, которые не вызывают противоречия, а скорее могут навести на вас сон. Но вдруг, словно какая-то муха укусила его, он начинает метаться на эстраде, руки его поднимаются и опускаются, выделявая всяческие жесты; эти жесты не образны, не иллюстрируют содержания речи, но зато они отлично выражают душевное состояние оратора и передают его слушателям. Когда в пафосе обвинительной речи указательный палец оратора, словно хищная птица, устремляется на слушателей, каждый из них чувствует себя ответственным за грехи немецкой нации” (там же, с. 100). Нет сомнений, что Гитлер здесь изображает человека, охваченного пароксизмом страха и потому очень опасного для окружающих, — это именно то чувство, которое он стремится пробудить у своих слушателей — и они отвечают ему восторженным ревом и аплодисментами.

³ Здесь есть некоторая аналогия древнему мифу о Медузе-горгоне — чудовище, которое нельзя было увидеть, потому что взгляд смертного не выносил ее лицезрения. Согласно мифу, Персей смог сразить ее, только глядя на ее отражение в блестящем медном щите.

⁴ Чуковский К. Дневник. 1930—1969. М., 1995. С. 141.

⁵ “О том, как замороженно смотрели на Сталина Пастернак и К. Чуковский, можно судить по кадрам кинохроники, где они сняты 22 апреля 1936 года на съезде комсомола” (Кушнер А. “Это не литературный факт, а самоубийство” // Новый мир, 2005, № 7).

⁶ В 1958 г., то есть уже в совсем другую эпоху, когда уровень опасности снизился на несколько порядков, Пастернак рассказывал: “В начале тридцатых годов было такое движение среди писателей — стали ездить по колхозам собирать материалы для книг о новой деревне. Я хотел быть со всеми и тоже отправился в такую поездку с мыслью написать книгу. То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел. Целый год я не мог спать” (Масленникова З. Портрет Бориса Пастернака. М., 1990. С. 37—38).

⁷ “Выслушав антисталинское стихотворение, Пастернак сказал: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал и прошу вас не читать их никому другому»” (Кушнер А. “Это не литературный факт, а самоубийство” // Новый мир, 2005, № 7).

⁸ Ср.: “По поводу этого стихотворения О. М. (О. Мандельштам, “Стансы”. — Н. В.) как-то тихонько сказал мне, что в победе в 17 году сыграло роль удачное имя — большевики — талантливо найденное слово. И главное, на большинстве в один голос... В этом слове для народного слуха — положительный звук: *сам-большой, большой человек, большак*, то есть столбовая дорога. «Большеветь» — почти что умнеть, становиться большим...” (Мандельштам Н. Я. Книга третья. Paris, 1987. С. 206).

⁹ Впервые, насколько я знаю, мысль о том, что в основе патологической “любви” к Сталину и его подручным лежал массовый страх, была высказана в 1997 г. В. П. Лебедевым. Вот что, согласно его реконструкции, думал Сталин, читая “Государя” Макиавелли: “Правильно пишет этот флорентиец, что страх важнее любви и что дело государя — не добиваться любви подданных, а сделать так, чтобы государя боялись. Но он не понимает и не знает диалектики. Страх перед государем должен быть таков, чтобы от этого возникла любовь. Любовь через страх — вот настоящая диалектика!” (Лебедев В. Марш-бросок Суворова и Бунича на книжный рынок. // Лебедь, № 21, 22 июня 1997 г. — <http://www.lebed.com/1997/art128.htm>). См. также его статью “Экономике нужен террор” (Лебедь, № 29, 17 августа 1997 г. — <http://www.lebed.com/1997/art194.htm>).

¹⁰ Сарнов Б. М. Скуки не было. Первая книга воспоминаний. М., 2004. С. 271—272, 293, 298, 299.

¹¹ Там же. С. 256—354.

¹² В другой своей книге Б. М. Сарнов анализирует с этой точки зрения опубликованные “Дневники” А. Афиногенова — советского драматурга, прославившегося в начале 1930-х своей пьесой “Страх”. Убедительнейшим и нагляднейшим образом, цитируя записи, помеченные 1937 г., когда исключенный из партии Афиногенов со дня на день ожидал неминуемого ареста, Сарнов показывает, как страх — доминирование которого в советской жизни писатель сам же ярко описал несколькими годами раньше — проникает в его сознание в виде экзальтированной любви к советской власти: “Буквально в каждой записи ощущается нетерпеливое желание автора не просто заявить (часто совершенно не к месту, ни к селу ни к городу) о своей лояльности, а с какой-то прямо-таки патологической страстью выкрикнуть: «Я люблю! Люблю эту новую жизнь! Я предан ей всем сердцем, всей душой, каждым атомом, каждой молекулой всего моего существа!»” (Сарнов Б. М. Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М., 2005, с. 136).

¹³ Коржавин Н. О том, как веселились ребята в 1934 году... // Вопросы литературы, 1995, № 6.

¹⁴ Ср.: “В кампанию по нагнетанию ненависти включились все средства, формы и жанры массового воздействия. Все — кроме песни. Ей выпала иная миссия. Песня приняла участие в другой кампании, которая велась параллельно и была направлена, с точки зрения психологического эффекта, в прямо противоположную сторону. Если первая тянула психику вниз, в темную бездну, то вторая толкала ее вверх, к свету. Одна породила ощущение незащитности, подозрительности и страха, другая провоцировала атмосферу побед и свершений, молодости и прогресса” (Фрумкин В. Легкая кавалерия большевизма // Вестник, 2004, № 5—6. — <http://www.vestnik.com/issues/2004>).

¹⁵ Искандер Ф. Повести и рассказы. М., 1991. С. 224.